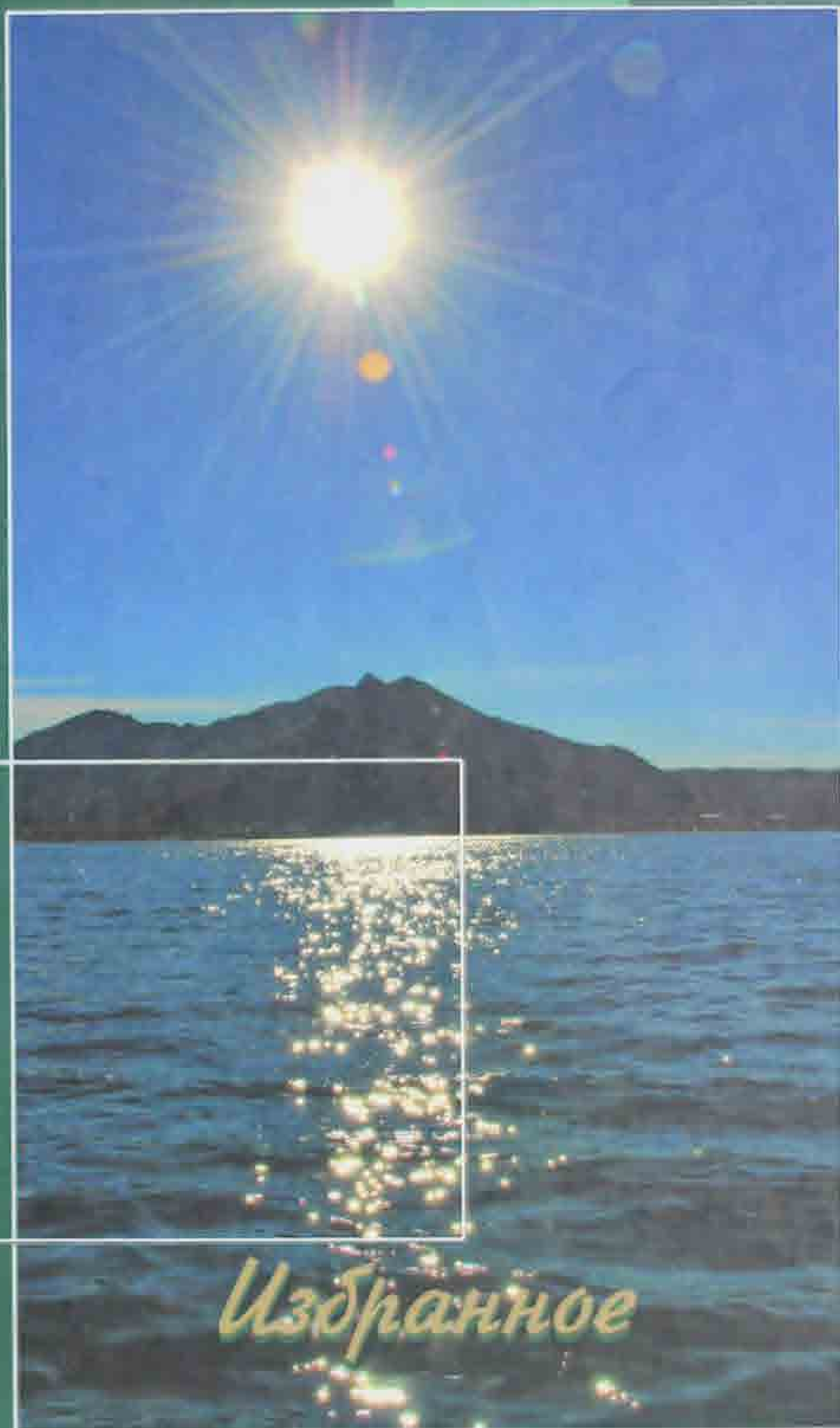


24(5Каз-4/12.В)Курт
П55

Кереку-Баян Кітапханасы

ПОМИНОВ

Юрий



Избранное

84(БҚаз-АПАВ)рус7
П55

КЕРЕКУ-БАЯН Өңірі
Ақын-жазушыларының Антологиясы



Посвящается 20-летию
Независимости
Республики Казахстан

ПОМИНОВ ЮРИЙ ДМИТРИЕВИЧ

ИЗБРАННОЕ

КХ

Павлодар, 2011 Павлодарская областная
библиотека
С. Торайгырова

552908

УДК 821.161.1 (574)
ББК 84 (Қаз-Рус) 7-44
П 55

Павлодарская областная
б.б.л
С. Торайгырова

Главный редактор
Арын Е.М.

Редакционная коллегия:

Алаканулы А., Баязитов С., Бижан Ж., Жусип К.П., Жуматов Г.,
Кадысова Р.Ж., Кани А., Кудабаяев А.Ж. (составитель, ответственный
редактор), Омаров М., Поминов Ю., Сарбалаев Ж.

Поминов Ю.Д.

П 55 **Избранное:** – Павлодар: ЭКО, 2011 – 224 с.

ISBN 9965-08-559-5

В данную книгу включены избранные произведения разных лет Поминова Юрия Дмитриевича. Автор книг: «Крупяной клин» (1990 г.), «Помню и люблю» (1993 г.), «Характеры» (1997 г.), «Живу» (1998 г.), «Мои современники» (1999 г.), «Между прошлым и будущим» (2002 г.), «Блестки» (2003 г.), «Хроника смутного времени. Записки редактора» (книги первая, вторая и третья, 2007, 2009, 2010 годы), «Свет отчего дома» (2011 г.).

Эта книга избранных произведений предназначена для учащихся старших классов, преподавателей вузов и всех, кто интересуется творчеством писателя.

УДК 821.161.1 (574)
ББК 84 (Қаз-Рус) 7-44

ISBN 9965-08-559-5

© Павлодарский государственный
университет им. С. Торайгырова, 2011

Из книги «Живу»

Такая долгая жизнь

I

Мою бабушку по отцу звали Мария Петровна. Родилась она ещё в девятнадцатом веке, запомнила название деревни – Новое Красивое Село в Ефремовском уезде Тульской губернии. Так что, вполне возможно, в детстве она могла видеть самого Льва Толстого...

В начале нашего века, в пору великого переселения, бабушка вместе с родителями оказалась в Сибири. Её память хорошо сохранила это время, а более всего то, как она девочкой жила в услужении у купцов Красноусовых. О тех годах бабушка всегда вспоминала едва ли не благоговейно – похоже, то была самая счастливая пора в её недолгом отрочестве. Хотя, насколько я теперь могу судить по её стародавним рассказам, в той «красивой» жизни хватало всякого. Обязанностей было много, одна из самых неприятных – сеять муку. Красноусовы требовали, чтобы это делалось на самом мелком сите, муки надо было много, а рабочее место – холодные сенцы... В студёные зимы девчоночьи руки, по бабушкиному определению, «заходились» и отказывались держать сито. Она пыталась хитрить, меняя сито на более крупное, но тут же была поймана. «Ах ты, дрянь паршивая» – всякий разговаривала хозяйка, будучи сильно недовольна прислугой. Но зато никогда не била, непременно подчёркивала бабушка, давая понять, что недовольство было заслуженным, и всегда вспоминала о подарках, которыми Красноусовы одаривали её на рождество – о цветном полушалке, поношенной кофточке, кулёчке конфет и связке баранок.

В 16 лет бабушку выдали замуж, и службу пришлось оставить – Красноусовы держали в прислугах только девочек и незамужних девиц.

Революция, как таковая, в бабушкиной памяти не сохранилась (на все мои расспросы по этой части она отвечала «не знаю» и всякий раз пыталась уточнить: «Это когда царь Николай отрёкся?») Зато ей хорошо запомнилась гражданская война и приход анненковцев (она говорила «анненков отряд»). Всех сочувствующих советской власти анненковцы вывели в лес за деревню, изрубили шашками и, распоров им животы, набили зерном – ешьте, краснопузые... Моего деда, впоследствии секретаря здешнего Совета, среди казнённых, к счастью, не оказалось – бабушке чудом удалось его спрятать в заброшенном колодце...

Коллективизация навсегда впечаталась в бабушкину память незамысловатой деревенской частушкой:

*Иванов, Иванов,
Как твои делишки?
Отобрал у нас коров –
Плачут ребятишки!*

Иванов был сподвижник деда – организатор первого колхоза, обобществивший весь деревенский скот. Ну, а плакали в ту пору по этому поводу, как мы теперь хорошо знаем, не только ребятишки.

У деда с бабушкой уже ко времени анненковского рейда было двое детей. Потом родятся ещё двенадцать. И всё это время будут уходить из жизни – в младенчестве, детстве и совсем взрослыми. Маленьких косили корь и скарлатина, над взрослыми будто злой рок витал...

Дочь Сару в неполных четырнадцать лет задавила грузовая машина – одна-единственная на всю округу.

Сыну Сергею шел девятнадцатый год. Он был красавец, спортсмен. Вся деревня сбегалась смотреть, как Сергей «кру-

тит солнце» на турнике. Однажды сорвался, ударился головой о стылую землю. Отлежался, думали – обошлось... А он заболел в дороге. Сняли с поезда на одной из станций. Там он и умер в больнице, не приходя в сознание. Где похоронен – не известно... Плаксивая его, бабушка уходила в лес, чтобы никто не видел и не слышал, и криком кричала, пока оставались силы и голос.

Сын Никита был глухонемой. Любимец всей деревни, добрая душа, лучший работник в колхозе. Зарезали корову, начали подтягивать её к перекладине, чтобы освежевать. Перекладина переломилась, а Никита оказался прямо под ней... Стал жаловаться на голову, потом слег. Как-то бабушка с дедом собрались ещё затемно на базар и объясняют ему это на пальцах. Он в ответ показывает: возвращайтесь быстрее, а то я умру сегодня – как солнце встанет. И в самом деле – на рассвете умер. В 27 лет.

Сын Фёдор был на год младше Никиты, уже женат. Молотили зимой пшеницу. Фёдор работал наверху, развязывал снопы, подавал их в молотилку. Его нечаянно толкнули, и он упал – головой вниз. Болел, продолжал работать. Однажды совсем занемог – даже к завтраку не встал. Пришёл бригадир звать его на работу, он попытался подняться и не смог... В тот же день скончался.

Сын Виктор, 27 лет, утонул в озере Чаны. Вот как это было. Они – несколько молодых мужиков – переходили озеро по неокрепшему льду. Поднялся ветер и стал ломать лёд. Они бросились к берегу. Виктор почти добежал, когда услышал крик из полыньи: «Не бросай, брат!» Вернулся. Протянул товарищу ружьё, вытащил его на лёд. Тот снова провалился, увлек за собой Виктора и уже не дал выбраться ему самому... На берегу всё это наблюдали человек двадцать, но помочь они ничем не могли. Виктор с товарищем утонул в конце октября, а нашли

его только в мае. Он, на удивление, хорошо сохранился, а бабушка одно время в эту пору начала заговариваться.

Бабушка пережила и оплакала тринадцать из четырнадцати своих детей. И ещё мужа, без которого она прожила больше сорока лет. Последним бабушка хоронила моего отца, единственного из её детей, прошедшего войну и вернувшегося после победы живым и невредимым... Теперь осталась лишь её младшая дочь, моя тетка, которую бабушка родила в 46 лет.

II

У меня с бабушкой сложились особые отношения. Мне теперь трудно судить, почему так вышло, но факт остаётся фактом: чуть ли не с трехлетнего возраста она всюду таскала меня за собой. Несмотря на свой возраст, она недалеко, но много ездила, и я побывал вместе с ней на некогда знаменитом Купинском базаре, где она в молодости торговала своей несравненной чубаровской ряженкой; цепенея от страха, катался на моторке с каким-то её родственником по неоглядному озеру Чаны; вместе с ней совершил первое в жизни далекое путешествие по железной дороге в Красноярск, а оттуда – в Дивногорск, где буквально в двухстах-трёхстах метрах от её комнаты в обычном городском доме начиналась самая что ни на есть дикая тайга – с настоящим буреломом, жарками и черемшой, чем-то напоминавшей наш дикий чеснок...

Жаль, что воспоминания о тех поездках сохранились бесвязные, отрывочные. Куда лучше помнятся наши хождения за грибами...

Уже тогда моторизованные грибники устремлялись за ними как можно дальше, а бабушка, наоборот, промышляла только в окрестных лесах. Бывало, отогнав в стадо корову, ча-

сам к шести утра она возвращалась домой с грибной добычей в завязанном сверху узлом переднике, и я просыпался уже под неповторимый аромат грибной похлебки.

Мне хорошо известно, что сегодняшней грибник привередлив: ему подавай непременно белые, подосиновики, грузди. А бабушка уважала гриб всякий. Она не брезговала почти сплошь ныне презираемыми хрупкими сыроежками, именуя их краснушками, синюшками и чернушками, – в зависимости от того, какой цвет преобладал на шляпке. Волнушки она звала волвешками. Валуи, в зависимости от «сорта», слюнявыми (их жёлтые, бледно-розовые или коричневатые шляпки были покрыты слизью) либо скрипицами (определение удивительно точное – не только крепкая ножка упруго скрипела при срезании, но потом скрипел сам гриб, когда его раскусываешь его в готовом виде). Одну из разновидностей сухих степных груздей бабушка называла белянками. Они и впрямь были изумительно белыми, а отдельные экземпляры – даже с легкой голубизной, которая, впрочем, нисколько не портила вид гриба, скорее придавала ему особое очарование. Найдя первую белянку средних размеров, бабушка разрезала ножку на несколько колец и, бережно уложив шляпку в ведро, кольца беспечно отправляла в рот.

– Ты что, отравишься! – испугался я, увидев подобное впервые.

– Как же, – засмеялась она и отломилла мне кусочек, – попробуй лучше!

Я с опаской пробовал – и тут же выплевывал: сырой гриб мне решительно не нравился. Но бабушка, впрочем, и не настаивала.

Подберёзовики у бабушки были обабками, шампиньоны – их мы собирали прямо в поле через два-три дня после дождя – печерицами. Не часто, но попадался и влажно тяжёлый

изжелта-бледный, реже молочно-восковой, ворсистый, настоящий, или сырой груздь... Бабушка почему-то говорила «груздь» (без мягкого знака) и начинала священнодействовать: сразу не рвала, ставила ведро, начинала оглядываться... Мы с ней тщательно исследовали всё пространство вокруг, особенно бугорки под приподнявшимися прошлогодними листьями, и чаще всего находили ещё три-четыре груздочка, а если улыбалась удача – то и с десяток...

Любопытно, что не всякий червивый гриб бабушка выбрасывала. Очень часто, обнаружив единственную норку, оставленную в корне или шляпке нашим расторопным конкурентом, бабушка как-то очень ловко вырезала испорченные фрагменты, а оставшуюся часть гриба забирала. Иногда виновник этой хирургической операции, бледно-розовый червячок с красной головкой, обнаруживался сам. Бабушка небрежно выковыривала его, а гриб брала, объясняя:

– Ничего, это костяничник – он не вредный.

... Через час-полтора с полным ведром, а если повезёт – то и с довеском – узелком из передника, отправляемся домой. Тут всякому грибу найдется применение: сыроежки пойдут на суп, обабки будут изжарены, а их корни отправятся на сушку, белые (они у нас водились не каждый год, а бабушка их называла попами – наверное, за статью, особую осанку) годятся и на суп, и на жарёху, и на сушку, и на маринад, ну, а уж грузди после первой очистки будут отмокать в воде – потом мыться и чиститься, а потом долго-долго томиться в рассоле под гнётом...

Немного походил я с бабушкой за грибами, а страсть к этому тихому промыслу сохранилась на всю жизнь. И меня, давно городского жителя, не удержать дома, едва только промелькнёт слух о том, что кто-то где-то видел, а тем более рвал первые грибы.

Бабушка была верующей. Она знала все главные православные праздники, раньше всегда постилась, на пасху обязательно пекла куличи и красила яйца. Носила простенький крестик, была у неё и икона. Я одно время всё допытывался у неё: как это понять – Христос воскрес. Она, как могла, объясняла: нехорошие люди распяли его на кресте (подробности распятия она упускала и, понимаю теперь, не случайно). А как пришло время его хоронить – он оказался живой и показал пришедшим крашеное яичко – отсюда, мол, и обычай – яйца красить.

Впрочем, находясь в нашей сугубо атеистической семье, бабушка никогда не делала никаких попыток приобщить нас, своих внуков, к Богу. Наверное, понимала всю бесперспективность этого занятия.

Бабушка была неграмотной. Учиться ей вовсе не довелось, и она с трудом печатными буквами могла написать свою фамилию. Письма бабушкиным родным писал за неё я. Она говорила, а я записывал, и поскольку бабушка излагала своё житьё-бытьё неспешно, обстоятельно, я (каюсь теперь!) хитрил, спрямляя изложение части событий, сокращая по ходу письма приветы её многочисленной родне. Теперь я уже не в силах воспроизвести бабушкину речь. Но как же хорошо она говорила! Она говорила – как пела. Это был чистый, живой, не замусоренный никакими суррогатами и заимствованиями язык, какого теперь почти не встретишь.

Мне не раз приходилось видеть бабушку рассерженной, но никогда не слышал из её уст ругани (хотя её муж и мой дед, Пётр Петрович, которого я совсем не помню, наоборот, был матершинником). И когда живущая по соседству женщина «заводилась» на пьяного мужа:

– И чтоб тебя три грозы гремучих разбило! И чтоб тебя какая-нибудь корючка закорючила! И чтоб ты издох... – бабушка просто пугалась – по её понятиям это значило гневить Бога. Крайнюю степень недовольства у неё самой выражала фраза, которую мне ни от кого больше слышать не доводилось...

– Кишки-т-твой перемотайся!

Или – реже:

– Кишки-т-твой лопни!

Но ни первое, ни второе, как правило, никому конкретно не адресовалось, а носило отвлечённый характер.

Бабушка знала не только свою ближайшую, но и всю дальнюю родню: кто кем кому доводился, кто на ком женат и кто за кем замужем. Было в высшей степени любопытно слушать, как они изъяснялись с моим отцом, называя подчас диковинные, ничего мне не говорящие фамилии, связанные, тем не менее, в некую стройную систему. Чаще всего упоминались Поминовы, Дроздовы, Чурсины. Но были ещё Чубаровы, Даничкины, Кострикины, Шукайловы и великое множество других... Звучали названия деревень, ласкающие слух: Чубаровка, Лягуши, Сергеевка, Мальково, Чумашки... Путешествия отца с бабушкой по густым ветвям нашего генеалогического дерева, как правило, заканчивались разладом: на каком-то этапе оказывалось, что кто-то из них кого-то забыл, что-то напутал, и им приходилось возвращаться в исходную точку...

Когда бабушка вела долгий рассказ, она время от времени делала недлинные паузы, сопровождая их характерным «да-а». А если касалась какой-то очень больной темы, заканчивала неизменным «и-эх-жизнь!» и надолго замолкала, отрешённо глядя в одну точку. Когда я, особенно в далёком детстве, чем-то приятно удивлял, радовал бабушку, она всплёскивала руками

и восклицала: «Господи ты мой! Милай-сливай!» Я не задумывался о смысле последних слов – думал – это у неё прибаутка такая, и лишь спустя годы понял – так она произносила слово милостивый.

Её руки умели всё на свете. Она прядла, вязала и шила. Долгими зимними вечерами я любил сидеть на скамеечке у её уютно, с переливами жужжащей прялки и наблюдать простой и одновременно непостижимый процесс превращения бесформенных клочков шерсти из кудели в прочную шерстяную нитку, которая несколько дней спустя становилась уже моими носками или варежками. Я до сих пор помню её тончайшие, как кружева, таявшие во рту блины. Она умудрялась испечь хлеб в нашей отнюдь не приспособленной для этого дела домашней печке. Она учила меня лепить пельмени с фигурной бахромой... Она делала ароматную, густую, с коричневатой пенкой – вкуснейшую ряженку. Чубаровская ряженка – так грубовато-нежно поддразнивал бабушку мой отец. И все мы знали, что он имеет в виду. Именно так когда-то зазывала бабушка покупателей на базаре в Купино, где торговала ряженкой. И этот её чубаровский (по названию деревни) товар всегда пользовался спросом и разбирался очень быстро. Случалось, продав свою ряженку, бабушка выручала соседей, выдавая их продукт за собственный.

Поразительно, что люди это до сих пор помнят. Недавно разговорился со своей городской знакомой. Вдруг оказалось мы земляки, а сама она из Купино. «Ну, а мои родители из деревни по соседству, – сказал я, – из Михайловки». «Так это теперь Михайловка, а раньше называлась Чубаровка, – возразила она, – её жители торговали у нас на базаре ряженкой, так помню и кричали – чубаровская ряженка, чубаровская ряженка!».

... Нет теперь ни ряженки, ни того базара. Да и сама Чубаровка, то бишь, Михайловка, дышит на ладан...

До 96 лет бабушка жила одна, в своей избушке, сама управлялась по хозяйству. Моя городская квартира, где она провела последние годы жизни, откровенно тяготила её. Но она крепилась, не показывала вида. Пережив всех своих сверстников, она до последних дней сохраняла ясный ум, острую память и поразительный интерес к жизни. Не изменяла своим привычкам: нюхала табак и требовала на рождество рюмку водки вместо предлагаемого ей фужера вина.

Умерла бабушка 14 декабря 1998 года, лишь несколько недель не дожив до 98 лет и не доставив нам, её родным, почти никаких хлопот.

Дед Тимофей и бабушка Акулина

Хорошо помню деда с бабушкой по материнской линии. Дед Тимофей – высокий, кряжистый, строгий. Бабушка Акулина – маленькая, хрупкая, добрейшая душа.

В их молодости бабушку не хотели отдавать за деда. Выдали за другого, из соседней деревни. С мужем бабушке не повезло – он обижал её, без повода ревновал. Однажды в приступе ревности привязал, беременную, к оглобле и рысью погнал лошадь. Была зима, бабушка обморозила колени, а через несколько дней родила мёртвого недоношенного ребёнка.

Родня забрала её к себе. Наш дед сказал своему отцу, что хочет взять её в жёны, но тот почему-то не разрешал. Тогда упёрся «жених» – пять лет не женился, пока, наконец, не добился своего.

Всё это я знаю со слов матери, благодаря которой выжили, когда деда мобилизовали в армию, и бабушка, и трое материнских сестёр. Мать была старшей и в 14 лет пошла в колхозную бригаду поварихой. Семья их в ту пору обнищала до крайности.

Когда вернулся дед (никто не знал – жив ли он или погиб), бабушка упала в обморок. Остальные будто онемели. Дед спрашивает мою будущую мать: «Что же ты, дочка, ничего не говоришь?» А она никак не может в себя прийти. «Вот, – отвечает, – на базар собралась фуфайку покупать, денег 1200 рублей скопили...» – «На, – говорит дед, – возьми мою...». Он в фуфайке пришёл.

Такая была встреча. Служил дед на Дальнем Востоке и единственное, что привёз с собой, – чемодан китайского шёлка. По тем временам дорогой товар, который можно было выгодно продать. Но бабушка на радостях нашила из него дочерям платьев. Очень красивых платьев, которые через несколько недель «полезли» – дорогой шёлк совсем не годился для повседневной носки.

Мать считает, что этот случай, как никакой другой, характеризует и деда, и бабушку, не сумевших распорядиться даже этим единственным богатством, попавшим в их руки. Иногда она в сердцах называла деда с бабушкой неудельными, то есть людьми, лишёнными практической сметки, или, в нашем привычном понимании, – не умеющими жить... Впрочем, это не мешало матери относиться к своим родителям с величайшим уважением и почитать их до самой смерти.

Судя по рассказам матери, жили дед с бабушкой тихо, незаметно. Никогда не скандалили. Тут, скорее всего, бабушкина заслуга – она ни в чём не перечила деду, позволяя себе лишь изредка незаметно посмеиваться над ним. Правда, и он её не обижал. Однако случалось, возвратясь домой изрядно навеселе, будил среди ночи: «Вставай, Акульк!» – «Ну, чего тебе!» – «А давай песни поиграем!» Значит, надо было вставать и петь с ним, что она и делала, вероятно, ругая при этом деда в душе последними словами. Любопытно, что и сам он, будучи трезвым, никогда не пел.

У деда с бабушкой, в небольшой – в одну длинную улицу – сибирской деревне Чубаровке, я проводил каждое лето. И память хорошо сохранила их всегда чисто выбеленную избуш-

ку с плоской пластяной крышей и глиняным полом (раз в неделю бабушка его обязательно мазала); наполовину вросшую в землю крошечную баньку; ветхий плетёный сарай с крутобокой коровой и обязательным ласточкиным гнездом на столбе, державшем крышу сарая; нежнейшую траву-мураву, расстилавшуюся от самого порога, и огород с цветущей картошкой, сбегаящий вниз, к пересыхающему озеру...

Помню немудреные бабушкины угощения, вкусный терпкий запах дедова самосада – он сам растил табак, рубил в деревянном корыте, сушил.

Помню, как басовито, тревожно и гулко гудели провода в Чубаровке, когда приложишь ухо к высушенному до звона, нагретому солнцем столбу.

Помню посвист любопытствующих сусликов и то, как смешно, подбрасывая зад, они улепетывали к себе в нору.

Помню развалины старых саманных домов – где-то на задах единственной Чубаровской улицы. Меня почему-то тянуло к этим полуразрушенным, заросшим травой саманушкам. В их щелястых выветренных стенах селились воробьи и трясогуски, они очень тревожились из-за каждого моего прихода.

Хорошо было у деда с бабушкой. Но я всё равно скучал по дому. Я находил открытое место и часами смотрел – не идёт ли в сторону Чубаровки с Хомичевой гривы машина. Машины шли редко – и всё мимо...

Мне кажется, то были не худшие годы для деда с бабушкой. Дети выросли, худо-бедно определились, вот уже и внуки наезжают на лето. Наверное, мы им, оставшимся вдруг вдвоем, нужны были в ту пору не меньше, чем они нам... Но и мы вырастали и все реже навевывались к ним, не понимая, как дорог им каждый такой приезд...

Бабушка умерла первой. Умирала в страшных муках – последние несколько месяцев не вставала с постели, плакала,

просила, чтобы мать отравила ее – избавила от мучений... Как все же несправедлива бывает судьба к человеку: в своей жизни бабушка видела очень мало хорошего – неужели она хотя бы легкой смерти не заслужила?

Оставшись один, дед не захотел пойти ни к кому из детей. Жил сам. Утром выходил из дома, садился на завалинку, встречая и провожая всех проходивших мимо. С кем-то перебрасывался одной-двумя фразами, с кем-то просто здоровался. Ему этого было достаточно – он был у себя дома, на своей земле.

В последний раз мы навещали деда Тимофея втроём: старший брат Шурка, я и младший, Петька.

Строговатый, не очень ласковый дед, не привыкший выставлять напоказ свои чувства, был искренне рад нашему приезду. И не скрывал этого – наверное, чувствовал, что больше с нами тремя ему вряд ли доведется побывать.

Иногда, желая обратиться к одному из нас, он окликал другого, но поправляясь, снова ошибался, и тогда у него выходило:

– Шурк-Юрк-Петьк!

Он смеялся:

– Совсем запутался с вами...

И мы смеялись: нам очень нравилось это наше тройное имя.

... А хоронить деда из нас троих довелось одному Петьке...

По ягоды

После обеда, запыхавшись, прибегает соседский Колька.

– Сидите тут, а Хомутовы полведра ягод приперли! – сообщает он прямо с порога, едва переведя дыхание.

– Бреши больше! – мы с братом не верим, боимся подвоха. – Залепухи, поди?

– Брешет попова собака, – обижается Колька, – токо щас сам видал... Красные... Меня Нюрка послала, сказала, чтоб пришли...

Раз Нюрка – это уже серьезно. Она старше нас всех, и во всем, что касается лесного промысла, ее авторитет непререкаем. На этот раз Нюрка решила посоветоваться с моим старшим братом Шуркой насчет маршрута завтрашних поисков. Они долго совещаются и наконец выносят решение – пойдём за кукурузу: досужие Хомутовы как будто промышляли именно там.

Сбор назначен на восемь утра, на лавочке у дома соседей. Мы с братом приходим чуть раньше срока, томимся в ожидании: и чего, спрашивается, рассиживаются... Но вот появляется Колька, за ним его старший брат – ленивый, медлительный Витька, а затем и сама Нюрка.

Своей улицей, потом проулком, мимо школьного барака, магазина, водонапорной башни выбираемся за совхоз, к краю большого кукурузного поля. Кукуруза стоит в наш рост, а кое-где и выше; и хоть ноги чуть вязнут в прохладной с утра земле, идти по полю интересней, чем по пыльной дороге.

От дальнего края поля до ближайших околков рукой подать. Не сговариваясь, берем курс на большую березу с неправдоподобно плоской вершиной. Береза видна издалека и будет хорошим ориентиром на тот случай, если мы слишком далеко разбредемся по сторонам.

Впереди вытянулись полукругами два длинных околка; узкое, метров в двадцать, пространство между ними заросло разнотравьем – заячьей капустой, диким горохом, морковником и, что самое важное, – диким укропом. Зеленые, рыжие и белые шляпки, гордо покачиваясь на упругих стеблях, призывно кивают нам. Заросли дикого укропа – одна из вернейших примет ягодного места.

Шурка с Нюркой выдвигаются чуть вперед и, высоко поднимая ноги, осторожно ступают на поляну. Мы держимся на почтительном отдалении, нервничаем: есть или нет, а то как не повезет, проблуждаешь весь день и придешь — дно в посуде не закрыто...

— Есть маленько! — подав сигнал и нам приступать к делу, Шурка осторожничает в оценке поляны. Боясь спугнуть удачу, бурчит под нос:

— Мало ли что! Сначала, может, есть, а потом не будет...

В бидонах у нас вода, взятая про запас. Теперь — хочешь, не хочешь — с ней приходится расставаться. Пьем, кому, сколько влезет, остатки выплескиваем на траву... Мгновение спустя уже слышен отовсюду легкий треск срываемых ягод и их дробный перестук о дно бидонов.

Двоим в одну посудину, рвать несподручно: Шурка как старший берет себе бидон, а я — кружку.

— Семь кружек, — такую он определил мне норму, — как нарвешь — так домой пойдем.

Я знаю, что норма завышена: Шурка явно хитрит, заранее настраивая меня на большее число. Но в этой хитрости есть свой резон: магическая семерка все время будет в памяти, не даст раньше времени расслабиться...

Ну, что ж, семь так семь!

Опускаюсь рядом с ним на корточки, раздвигаю руками траву и сразу замечаю несколько свесившихся вниз под тяжестью ягод кисточек — у нас их называют куртинами. Подвожу к ягодам снизу правую руку с разомкнутыми пальцами, ловлю ими упругие нити и легонько тяну руку вверх; нити скользят между пальцами, и вот уже вся гроздь в ладони. Еще одно легкое движение, и ягоды сочными щелчками отрываются. Можно рвать по-другому — щепотью сверху, выбирая одни только крупные зрелые плоды, но это не выгодно — очень долго. В хо-

зрелости же любая ягода сгодится: и красная, и с прозеленью, и совсем зеленая.

Попали на хорошее место; присядешь пониже, пригнешь голову – и глаза разбегаются: кисти прямо, справа и слева, с боков, сзади... Тело охватывает легкая нервная дрожь. Устраиваешь кружку на земле, чтоб не упала, и орудуешь обеими руками. Велико искушение в первые минуты отправить в рот самые сочные, самые спелые ягоды, но чувство долга берет верх: если бы есть пришли – другое дело, а тут бидон целых четыре литра...

Первая кружка полна, добавляю еще горсть отборных, нагретых солнцем ягод, чтоб была она с верхом, и Шурка не прекал потом. Он тоже не терял времени даром – дно бидона уже закрыто. Шурка, держа ладони лодочкой, осторожно ссыпает внутрь содержимое моей кружки и напоминает, возвращая ее:

– Осталось шесть. Да почище рви, а то глянь – залепух полно и травы вон сколько.

Тут он случайно замечает вырвавшегося вперед Кольку и истошно вопит:

– Нюрк, он же подавит там все!

– Во паразит! – негодует Нюрка. – И когда успел – только что рядом был... А ну – назад! Щас же!

Колька водворен на общий рубеж, над поляной вновь воцарилась тишина, все углубились в работу. Нюрка рвет проворнее всех, легко передвигаясь и почти не оставляя за собой ягод. Шурка, побряхтывая, старательно обшаривает все вокруг себя, сидя на корточках. Позади всех сосредоточенно сопит Витька; он уже давно ползает на коленях, после него остается в высокой траве широкий зигзагообразный след. Нам с Колькой все время охота вырваться вперед, но старшие следят за порядком и, чуть что, возвращают назад...

После третьей кружки бидон наполовину полон, но уже болят изрезанные острой травой руки, зудят искусанные комарами лопатки, ноет поясница, и едкий пот заливает горящее лицо. Солнце поднялось высоко над лесом и жжет немилосердно.

Хочется пить, однако воды здесь нет, и лучше о ней не думать. Время как будто остановилось: небольшая моя посудина никак не наполняется. По всему видно – и другие не прочь отдохнуть, но гордость никому не позволяет заговорить об отдыхе первым.

Кое-как набираю четвертую кружку и, с трудом разгибая поясницу, несу ее на вытянутой руке, словно боясь расплескать.

– Долго рвал, – сурово замечает Шурка. Потом критически осматривает мою несчастную полусогнутую фигуру и милостиво разрешает:

– Ладно, передохнем малость.

Устраиваемся в тени раскидистой березы, первым делом ревниво сравниваем – у кого больше. Нарвали почти поровну.

– У, черти дохлые, – сердится на своих Нюрка, – на обед не заработали. Спите на ходу, сачки несчастные.

– Да, хватит! – лениво отбрехивается Витька. – Сколь нарвали – столь нарвали...

Жарко. Даже ругаться лень. В душном, звенящем от комаров воздухе плавают терпкие ароматы цветов и трав. Недовольно гудит одуревший от жары золотистый шмель, тяжело перелетая от цветка к цветку. В этом знойном покое вязнут и растворяются звуки. Легкий ветер не приносит прохлады, а накатывает всякий раз упругой горячей волной. Время от времени лениво перебрасываемся словами, но разговор не клеится.

– А ведь уснул, падла! – неожиданно звонко говорит Нюрка. – Слышите?

Подозрительно затихший Витька и в самом деле тонко по-свистывает носом.

Надо вставать, пока и нас совсем не разморило. Витьку бесцеремонно растолкали, работа продолжается.

Первые движения замедленны, но мало-помалу руки приобретают прежнюю сноровку. Придает силы и гордое ощущение уверенности в том, что домой отправимся не пустыми, что дело движется к концу, надо только дорвать посудину. После моей пятой кружки в нашем бидоне свободной остается лишь узкая часть – горлышко. Это – несколько горстей земляники. Стараемся выбирать самые красивые и аппетитные ягоды; они будут лежать наверху, создавая впечатление, что и дальше точно такие же. Обстоятельство это – отнюдь не маловажно: показать товар лицом после удачного похода теперь уж просто дело чести.

Обратный путь занимает чуть больше времени – все-таки сказывается усталость. Но идем бодро: у старших покачиваются в такт шагам полные бидоны ягод. Старшие ведут меж собой разговор, степенный и неторопливый: сходили-де, мол, удачно, а это хорошая примета – если в первый раз повезло, должно везти и потом; денек-другой отдохнуть надо и снова идти – чем плохо, когда зимой варенье к чаю... Они говорят о том, что год нынче хороший – дождливый, за ягодой и гриб проклюнется – тоже не прозевать надо...

– Здоров, добытчики! – раздается за нашими спинами зычный голос. Нас нагнал совхозный мужик Степан Кукарекин. Степан едет верхом на низкорослой пузатой лошаденке, а его длинные ноги едва-едва не достают до земли.

– Ишь ты, насшибали! – уважительно говорит он. – Надо будет своих послать. Где брали-то?

– А – там... – опережает других Колька, показывая чуть ли не в противоположную сторону.

– Зачем врал? – строго спрашивает брата Нюрка, когда Степан отъезжает. – Твой собственный лес, что ли? Купил, да?

– А чего он? – огрызается Колька. – Насшибали... Такого и слова-то нет... Сами пусть ищут...

Мы предпочитаем не вмешиваться. Вообще-то врать нехорошо – это ясно. И жадничать нехорошо... Но душой мы все же на Колькиной стороне: раз мы нашли, значит, и место наше, а они себе пусть найдут...

Совхоз уже совсем рядом. Шурка останавливается, хозяйски оглядывает бидон и остается осмотром недоволен.

– Утряслось малость, – озабоченно говорит он. Ягоды за дорогу действительно чуть уплотнились, и теперь до самого верха посуды их не хватает. Это не страшно: нам знакома маленькая хитрость, которая поможет восполнить недостачу. Шурка надувает живот и опрокидывает на него бидон вверх дном, причем, так ловко, что ни одна ягода не падает. Он повторяет эту процедуру другой раз, третий... И свершается чудо – ягод в бидоне снова вровень с краями.

Теперь впереди самое приятное. И я отчетливо представляю, как встретит нас мать, обязательно похвалит и радостно хлопочет у стола. Мы, обжигаясь, будем есть жареную картошку прямо со сковороды и запивать ее холодным молоком. Говорят, это вредно – есть горячую картошку с холодным молоком, но это и чертовски вкусно.

Мы еще не успеем встать из-за стола, а по всему дому уже поплывет густой аромат полевой земляники – царицы всех ягод – аромат, впитавший в себя запах ветра, настоянного на травах, свежесть летнего дождя и тепло солнца... Этот ни с чем не сравнимый ягодный дух будет витать в доме, когда мы сядем всей семьей перебирать землянику – обрывать с каждой ягоды зеленые травяные шляпки; и потом, когда мать насыпет очищенных ягод в большую чашку и зальет их молоком, а мы

будем есть это удивительное блюдо с хлебом... На варенье в этот раз почти ничего не останется, но мать все равно выкроит чуть-чуть – на пробу. А самую мелочь, уже, казалось бы, ни на что не годную, мать поставит на чердак – сушить. Несколько дней спустя она отсеет мусор, а высохшие ягоды бережно ссыпет в мешочек – они пойдут зимой на кисель.

... И будет вечер того хорошего дня. Сомкнешь веки, а перед глазами, как наяву, крупная гроздь спелых ягод; ягоды покачиваются дразняще аппетитными розовыми боками, и пальцы непроизвольно шевелятся, пытаюсь сорвать их...

Встречи с чудом

Очищение

Такое случается, наверное, с каждым... Бессонной ночью услышишь вдруг, что дождинки стучат по железной крыше вразнобой. Или заметишь свежим морозящим вечером, что луна нынче матовая, а влажные провода блестят, как натянутые струны.

Почувствуешь горько-свежий запах опавших листьев в осеннем лесу и ни с чем не сравнимый, до боли знакомый запах пыльного зерна у совхозного тока.

Такое случается, наверное, с каждым. И невольно остается в тайниках памяти, чтобы отозваться тихой радостью или шемящей грустью. И делает нас добрее к людям, лучше и чище...

Сила жизни

В Баянауле красивые и своеобразные горы. Но самое удивительное здесь не они, а деревья, растущие прямо на камнях.

Каменные глыбы, как блины, пластами выходят из-под земли, наслаиваясь друг на друга; прямо на пластах неизвестно за что цепко держатся щупальца корневищ сосен, берез... Трудно дереву бороться с камнем, гнется оно, рвется вверх вкривь и вкось, изгибается, словно в танце, но камню не уступает: глыба трескается, появляются расщелины, за которые с удвоенной силой цепляются корни деревьев... Чтобы выжить, снова дробить камень, давать потомство.

Вот она – сила жизни, которой можно позавидовать.

Мелодия дождя

Было тепло и тихо, как бывает ночами в наших местах только в середине лета. И дождь пошел незаметно, теплый, спокойный и очень редкий. Не было слышно привычного монотонного шелеста, только тишина становилась все ощутимее – в такие минуты невольно ждешь звука, который бы ее нарушил. И он пришел также незаметно и тихо, как сам дождь: чуть слышный, но явственный – будто кто-то едва коснулся колокола. Казалось, мелодичный звон родился только для того, чтобы коснуться уха и исчезнуть. Это первая капля дождя, скатившись с крыши, попала на пустое ведро, висевшее вверх дном на заборе.

Странная и пока еще не волнующая нота родилась снова и звучала теперь громче, отчетливее. Не успев оборваться, зазвучала опять, тревожа и настораживая.

Звук был однотонный и печальный, похожий на перезвон маленьких колоколов. Он не раздражал почему-то, только тревожил. Но это была еще не мелодия, Она пришла чуть позже – просто и ненавязчиво – звуки были теперь разной силы и тональности. Так, случается, играют лишь для себя, словно задумавшись, не мешая другим.

Ветер случайно тронул листья клена, на дно ведра упали сразу несколько капель, и этот неожиданный аккорд оборвал грустную мелодию.

Потом она пришла снова, но это уже была другая мелодия, и слушать ее уже не хотелось.

Ошибка

Как-то осенью в Алма-Ате зацвели яблони. Странно и непривычно было видеть рядом с желтеющими и уже пожухлыми листьями маленькие и беззащитные розовые и белые бутоны.

Яблони хотели, наверное, пережить весну в одном году дважды. А это не всегда удается даже людям.

Маленьким бутонам было одиноко и неуютно холодными осенними ночами, и они не понимали, что обречены на гибель.

А синоптики объясняли все очень просто: в Алма-Ате была на редкость теплая осень.

Иней

Вечером упал туман. Сгладил очертания домов и деревьев. Яркие огни редких фонарей стали матово-бледными кругами и полукружьями. Потускнели звезды.

Всю ночь трудился туман, оседая на голые ветки деревьев, провода, окна домов и столбы.

А утром туман растаял, словно его и не было. Зато остались совсем седые деревья, пушистые провода, посеребренные крыши домов и столбы. На улице тихо и торжественно. Воздух свеж и прозрачен.

Но посмотришь на солнце – воздух искрится и переливается: то ветер сдувает с проводов и деревьев мельчайшие снежные наросты, еще недавно бывшие туманом. И странно – смотреть больно, а отвернуться не можешь.

Образ родины

Умытая недавним дождем июньская степь ходит под утренним ветром волнами и лоснится, как круп молодой сытой кобылицы.

Осень

Середина октября. На берегу Иртыша промозгло, неуютно, одиноко. Лишь франтоватая сорока-чистюля бесшумно скользит меж голых черных ветвей.

Тополиная метель

Невесомая пышная шаль липнет к заборам, укутывает калитки, прозрачным слоем стелется по земле...

Мой трехлетний сын бежит по белым островкам, взметая за собой белый туман – так, наверное, можно бегать по облаку...

Пух, гонимый ветром, лезет в нос и в уши, серебрит волосы.

– Ну, чисто буран, – говорит мать, прикрывая ладонью глаза.

Скворцы прилетели

На совхозной улице переполох – скворцы прилетели. Сидят рядком на проводах, по-хозяйски орудуют в садах среди голых еще ветвей и кленов, наполняя округу щебетаньем и щелканьем, трелями и пересвистом. Во всех дворах царит праздничное оживление: ребячьи и взрослые шарят по кладовкам и чердакам, извлекая на свет божий скворечники... А то непорядок получается – хозяева прилетели, а квартиры не готовы...

Удивительный факт: никто не видит, когда именно и как прилетают скворцы. Просто однажды утром обнаруживается,

что они прибыли, и теперь дело чести каждого двора встретить новоселов, как подобает. Очищаются от мусора и пыли старые скворечники, спешно готовятся новые, и вот уже то там, то здесь поднимаются в небо шести с разнокалиберными птичьими домами – выбирай, кому что нравится!

Соседям везет: дед Годун не успел как следует шест закрепить, а две семьи уже затеяли шумную ссору за право обладания жилищем... Чрезвычайно довольный этим обстоятельством, дед спешит к нам поделиться радостью: «Мой-то, вишь, заселился...». Достает кисет, степенно закуривает и поучает отца: «Ты бы, Митьк, развернул скворешню к востоку – птице, ей, вишь, наспротив солнца сподручней...».

Я жду, затаив дыхание: остаться без скворцов было бы в высшей степени обидно и несправедливо. И вот откуда-то сверху спикировал скворец и на крышу вывешенного нами домика. Мигом обследовал внутренности скворечника, видно, остался доволен. На его призывный пересвист явилась хозяйка... Новоселье состоится. И душа полнится рвущейся через край радостью: на улице – весна, всю греет солнце, скворцы прилетели...

Весной

Весна. Уже подсохли пригорки, и мы, пацанва, по вечерам играем на них в лапту... На приусадебных участках хозяева жгут скопившийся за зиму мусор, прошлогоднюю картофельную ботву, остатки ненужной соломы. Голубые сумерки... Плывет, слоится по совхозным улицам сизоватый ароматный дымок... Еще не тепло, но уже и не холодно. Душу переполняет ни с чем не сравнимое, ни на что не похожее светлое чувство. Хорошо, сам не знаешь отчего. Так хорошо, что хочется потихоньку петь и плакать.

Нигде больше и никогда не бывало так безмятежно и светло из душе, как в те уже теперь далекие весенние совхозные вечера с плывущим по улицам слоистым ароматным дымом.

Буран

Снег пошел часов в двенадцать дня – большими пушистыми хлопьями. Снег как снег, разве что небо было чуть темнее обычного. Потом посыпало гуще, снежинки неслись быстрее и скользили по земле, словно не успевая за нее зацепиться. Ничто еще не предвещало приближающегося бурана, но гнетущее состояние, не покидавшее меня, не проходило, а, напротив, усиливалось. Появилась даже мысль отказаться от командировки. Но тут подошел автобус, как всегда переполненный. В нем было тепло, даже по-домашнему уютно, и тревога как-то отодвинулась.

Автобус шел быстро. В лобовое стекло хорошо было видно, как струится по накатанной дороге поземка. Казалось, автобус мчится не по дороге, а по тонкому льду быстрой речки, льду совершенно прозрачному, такому прозрачному, что видно, как волокнистые струи воды стремятся вырваться наружу.

Иногда автобус останавливался. Одни пассажиры выходили, реже заходили другие, и тогда становилось заметно, как быстро набирает силу ветер, разом вырывая из салона тепло и кажущийся уют.

Водитель все чаще закуривал и все реже шутил. Ему лучше других было видно, как темнеет впереди и сливается с горизонтом небо. Быстро сгущались сумерки.

Солнце еще не село – его просто не стало видно. Землю окутывал серо-белесый сумрак. Уже нельзя было различать кусты лесонасаждений сбоку дороги. За полчаса нам не попалось ни одной встречной машины. Стихли разговоры слу-

чайных попутчиков. Только мотор ревел по-прежнему ровно и мощно, но к его реву примешивался теперь грозный гул снежного месива.

Стало совсем темно. Это была не обыкновенная темнота, а густая и плотная серость, в которой терялись очертания предметов, растворялись и таяли звуки.

Шофер быстро включил фары и вынужден был через мгновение потушить их — два совсем слабых столбика света сразу уткнулись в светло-серую массу, словно запутались в ней.

Автобус уже не мчался, а полз на ощупь, как уставшее животное, и скоро остановился. Водитель сидел, по-прежнему наклонившись к стеклу, и напряженно всматривался в темноту, силясь рассмотреть что-то. Потом устало откинулся на спинку сидения.

Ехать было некуда.

Водитель твердо знал, что где-то рядом село, но как тут отыщешь этот самый съезд налево...

Несколько минут все оставались без движения, потом зашевелились: в салоне становилось прохладно.

Шофер открыл дверь, и мы, те, кто стоял впереди, спустились в белую круговерть.

Ветер, казалось, дул со всех сторон сразу: небо швыряло уже не снежинки, а мелкую ледяную крупу, от которой нельзя было укрыться. И все это месиво бесновалось, ревели, как разъяренный зверь, старалось свалить с ног, засыпать... Но вот сквозь вой ветра отчетливо послышалось тарахтение движка совхозной электростанции. Новый звук разом оборвался, пропал в пространстве и снова возник.

Медленно, но упрямо автобус пополз вперед. Пассажиры прикикли к окнам — нельзя было пропустить поворот к совхозу... Съезд нашли, но проехать по селу уже не смогли. Машина завязла прямо посреди улицы.

Мне повезло – в автобусе оказался знакомый и пригласил меня к себе. Сто метров – не больше – нам нужно было пройти, а ветер, как оказалось (или просто казалось), дул навстречу. Мы шли по улице и не видели ни домов, ни деревьев – только мутные пятна света из редких окон. По ним и ориентировались. Жесткий и колючий снег бил в лицо, выдавливая слезы. Казалось, кто-то с размаху хлещет по лицу белой веткой, методично и зло. Не помогали ни поднятые воротники, ни варежки, которыми мы прикрывали лицо. Ветер насквозь продувал пальто, теплый свитер, и я чувствовал, как коченеют пальцы ног в шерстяных носках и теплых валенках.

Горе тому, кто окажется в эту непогоду в степи.

В дом не вошли, а ввалились не два человека – два снежных чучела. Кое-как сбили с себя снег, долго грелись у розовой, стреляющей искрами печки.

Буран ревел всю ночь, не утихая. Утром оказалось, что из дома нельзя выйти – открывавшуюся наружу дверь занесло снегом. Мне пришлось выставить окно в маленькой, промерзшей насквозь кладовой и лезть через него на улицу. С большим трудом откопал дверь, но лишь настолько, чтобы можно было протиснуться в узенькую щель.

Теперь нужно было помочь выбраться наружу соседям.

... Восемь дней одно и то же. Бьется в стекло обледеневшая ветка клена в проеме единственного не занесенного снегом окна, то появляясь, то исчезая в белой пыли. Воет и свистит ветер, выдувая из дома тепло и натягивая холод, от которого не спасают ни теплая одежда, ни двойные одеяла...

... Раз в двое суток поездки на буровую за водой и путь на улицу через окно кладовой...

Восемь дней одно и то же. Берешь в руки книгу и через минуту оставляешь, берешь ручку и тут же бросаешь, потому

что не можешь сосредоточиться. Самое страшное, когда ничего не можешь делать.

Иногда казалось, что буран вообще не кончится, что за окном нет ничего, кроме обледенелой, промерзшей насквозь ветки, кроме белой снежной пыли; нет других звуков, кроме свиста и воя; не верилось, что где-то есть люди, которым приносят по утрам газеты, что когда-то снова будет тепло.

Не знаю, откуда у моих хозяев – бухгалтера и учительницы начальных классов – взялся барометр. Он стал самым главным предметом в доме. Восемь дней он показывал одно и то же: к обеду стрелка, если постучать по стеклу, чуть двигалась к центру, а к вечеру снова падала вниз. Я ненавидел его, этот барометр, и не верил, что когда-нибудь он сможет показать «ясно».

Я видел немало буранов. И по-своему даже любил бураны. Находил особую прелесть в прогулках в зимнее ненастье. Но все это потому, что рядом был родной дом, и, когда я возвращался, милее казались и горячая печь, и знакомая старая книжка.

Хорошо, если метель – за окном родного дома. Пусть ломится за окном ветер и злобно швыряет пригоршни снега. Пусть. В доме от этого кажется теплей и уютней. Зимнее ненастье, если ты дома, можно сравнить со сказкой в детстве: немного страшновато, но мы знаем, что конец будет счастливым...

А тогда... Тогда я думал: если есть конец света, то это как раз нечто подобное происходящему на улице.

Лишь на девятые сутки, когда буран стал стихать, со случайной попутной машиной я вернулся в райцентр, где в ту пору работал.

Никогда не питал к нему особых чувств, но в тот момент показалось, что нет ничего лучше заваленных снегом улиц, по которым прежде ходил равнодушно...

– Приехал? – строго спросил вместо приветствия хозяин-старик, у которого я снимал комнату. – Что-то долго был. Заходи... Да, ноги не забудь обмыть...

Тихая охота

Грибы как люди: у каждого свой норов, свои привязанности. Всякий уважающий себя грибник знает, за чем идет он в лес, и соответственно этому выбирает.

За грибами на жарёху лучше всего пойти в смешанный лес, где спокойные березы уживаются с нервными молодыми осинами и разномастным семейством тальника. Первой вас обязательно встретит нарядная сыроежка. Она вообще любит нарядные одежды и шляпку свою красит едва ли не во все существующие цвета радуги, самыми неожиданными оттенками – от бледно-желтого и малинового до светло-зеленого и густо-синего. Сыроежка – гриб бесхитростный и неприхотливый; ее можно встретить и в березняке, и в осиннике, на опушке, и в тени, она не прячется, как ее многочисленные собратья, а, наоборот, сразу бросается в глаза. Сыроежка не слишком ценима основной массой грибников, а без нее и лес не лес...

Застенчивый подберезовик и франт подосиновик в смешанном лесу нередко соседи. Вот среди редкой травы застыл на тонкой ножке подберезовик, а рядом, в осиннике, маячит густокрасная шаровидная шляпка подосиновика, корень у него забирается глубоко в землю и бывает во много раз больше головы.

Иногда ошибешься, приняв издали за подосиновик молодой мухомор, на «голове» которого еще не проклюнулись характерные пятна. Если особенно повезет, вам встретится боровик, он же белый – гриб степенный и важный. У боровика выпуклая смуглая шляпка, которую держит плотная осанистая ножка, чем-то похожая на короткую перевернутую морковку.

В хороший год боровик растет все лето, но встречается он не часто, так что найти его – большая удача. Этот гриб хорош в любом виде – жареном, вареном, маринованном, его можно сушить и солить: при этом боровик всегда остается белым – отсюда, наверное, и второе название.

Ближе к осени любители тихой охоты наведываются в лес в поисках груздя. Из соленых грибов он самый вкусный. У нас растет несколько видов груздей, поэтому встретить их можно в любом лесу – березовом, осиновом, смешанном, на пойме. Поросшие травой опушки и лесные поляны облюбовали белый степной груздь – истинные грибники называют его беляжкой. Сухой груздь предпочитает сумрачные осинники. Срежешь его, и на ножке мгновенно выступает белый сок, напоминающий молоко, поэтому такой груздь называют ещё молочным.

Но особенно ценим у грибников житель влажного и тенистого околка – настоящий, или сырой, груздь. Опытный глаз сразу обратит внимание на характерный, едва заметный бугорок рядом с березкой. Под шапкой из листьев и прячется влажно-горький, упругий, ворсистый красавец. Белый гриб почти невесом, а срезав этот, сразу чувствуешь благородную тяжесть. Вот это удача! Но не спешите. Настоящий сырой груздь не любит одиночества, гриб он семейный. У молодых груздей шляпка выпукло-вогнутая, с плавно закругленными вниз краями, у старых – широкая, в форме развернутой воронки.

Далеко не каждый год бывает урожайным на грузди, особенно сырые. Необычайно уродились они дождливым летом 1980 года. В августе и сентябре почти в каждом колке обитало несметное количество и опрятно-рыжих волнушек, а их у нас тоже далеко не каждую осень встретишь. Тот год грибники окрестили годом сырого груздя и волнушки.

Впрочем, кто ищет – находит грибы в любой год. Вот и нынче в посадках вдоль автомобильных дорог упрямо лезет

из земли неистребимое племя стойких валуёв. Кое-где в колках и на пойме попадаетея и степной белый груздь...

Осенний лес не только красив, но загадочно щедр: случилось, подберезовики и грузди в нашем краю находили и в конце октября, по первому снегу.

Запах родины

Хорошо оказаться ранним утром, на исходе мая, в нашей павлодарской степи... Земной простор до самого горизонта, голубой купол неба – и ничего больше. Неброский, радующий взор пейзаж. Легко, привольно дышится. Тихо – до звона в ушах. Накатывает легкими волнами шаловливый майский ветер, принося с собой родной, до боли знакомый запах...

Этот неповторимый, с горчинкой, запах – то внятный, резкий, то едва осязаемый – мне никогда не забыть и ни с чем не спутать, я помню его с первых мгновений своей осознанной жизни. Это запах моего детства, моей родины. Запах полыни.

В нашем целинном крае она отвоевывала себе место всюду – на приусадебных домашних огородах, на обочинах дорог, в привольной нашей степи. На окраинных совхозных пустошах полынь вымахивала высотой в человеческий рост, и мы, пацанва, затевали в ее пахучей чащобе свои нехитрые игры с захоронками-поисками-преследованиями... Когда полынь цвела, мне нравилось срывать с ее макушек покрытые пылью зеленоватые шарики-плоды и, растерев на ладони, нюхать... Запах был густой, насыщенный. И потом ладонь еще долго хранила аромат полыни, ее стойкую горечь.

В первые годы целины полыни в нашем краю было так много – целые дремучие заросли – что ее использовали вместо камыша как строительный материал. У некоторых наших соседей в наскоро сооруженных сараях стены были из стеблей

польни, обмазанных глиной. И ничего – десятки лет стояли! Сухими, ломкими полынными стеблями подтапливали хозяйки «походные» летние печурки, на которых готовились – прямо во дворах – обеды и ужины. А как аппетитно хрумкали зимой овцы, выискивая в степном сене полынок и курай! Считалось, что без витаминной полынной добавки для овец и корм не корм... Еще помню полынные веники – их мы заготавливали в поле из какой-то особой полыни, похожей на кустарник, с упругим, почти древесным стеблем...

Кто-то считает полынь грубым, бестолковым растением. А я ее люблю. Наверное, не меньше, чем ароматную степную землянику моего детства...

Самая удивительная встреча с полынью была у меня несколько лет назад в Америке. В штате Джорджия нас, казахстанских туристов, повезли в экзотический сад цветов, который нам показался раем земным. Диковинные цветущие деревья, благоухающие кустарники, необыкновенной красоты растения со всего света... И вдруг у самой дорожки, посыпанной мелким гравием, такие неожиданно знакомые сероватые, с легкой голубизной, совсем крохотные кустики. Неужели полынь? Оказалось – она самая. Ее тут выращивают как редкое экзотическое растение. Не знаю, как и когда она здесь оказалась, но пахла совсем как у нас дома...

Я помню...

Талисман

Впечатления детства – самые яркие. И подчас – самые неожиданные: с течением лет забываются события, казавшиеся в пору их свершения наиважнейшими, а какая-нибудь мелочь, пустячок из детства помнятся всю жизнь...

В четвертом классе мне делали операцию аппендицита, в участковой больнице, за два десятка километров от нашего

совхоза. Конечно же, я отчаянно трусил, но меня согревала и успокаивала одна-единственная мысль: пока я в носках – все должно быть хорошо... Дело в том, что утром мать помогала меня собирать в больницу и сама надела на меня носки. И вот потом, оставшись один, я внушил себе: раз носки на мне, я по-прежнему связан с ней, значит, она как бы рядом со мной.

Когда за мной пришли на операцию, меня тревожило только одно: надо будет снимать носки или нет? Для меня это был вопрос жизни и смерти.

Разумеется, носки пришлось снимать...

Операция была без наркоза, но помню ее плохо: прикосновение к животу чего-то металлически-холодного, укол, еще укол... Затем перед глазами окровавленный червяк с белыми вкраплениями внутри – аппендикс – его мне показал хирург...

Всё это время в мозгу билась одна и та же мысль: носки, ведь я снял их ненадолго, они еще хранят прикосновение материнских рук, главное – побыстрее их надеть.

От операционной до палаты я шел сам. Едва добрался до кровати – взялся за носки.

– Ты что, с ума сошел? – рванулась навстречу сопровождавшая меня медсестра.

Но, к счастью, она опоздала: носки уже были на мне.

... Тридцать с лишним лет минуло с того времени, и как мне жаль порой, что нет у меня теперь такого заветного талисмана, который так же, как тогда, мог бы придать уверенности в трудную минуту, подарить надежду...

Кусочек счастья

Студеное зимнее утро. Матовое солнце равнодушно висит над горизонтом: светит, но не греет. Мороз пробирает до костей, и я начинаю приплясывать, чтобы хоть как-то согреться...

Мне одиннадцать лет. Я жду открытия библиотеки. И для этого есть весьма существенный повод. Все детские книжки,

умещающиеся в библиотеке на одной-единственной полуметровой полке, я давно перечитал, а вчера был завоз — сам помогал таскать. И вот дожидаясь библиотекаря, а она, как назло, не торопится.

— Ты чего тут мерзнешь? — слышу, наконец знакомый голос.

— Вас жду, — отвечаю я обрадовано.

— Так я сегодня новые книги не выдаю — их зарегистрировать надо, — мимоходом замечает она и, бросив взгляд на мою закованную фигуру, добавляет, — ладно, заходи — хоть погрешься.

Заходить после всего услышанного не хочется, но надежда еще теплится во мне, и я через темный коридор пробираюсь за ней в тесноватую, всего из двух комнат, библиотеку.

Доставленные вчера книги сложены на двух столах и на полу рядом с ними. Среди них и желанный том, который я еще вчера заметил. Из-за него и торчал на морозе, ожидая библиотекаря.

Она успела раздеться и теперь усаживается за стол, поднимает ко рту покрасневшие ладони, дышит на них. Я по-прежнему стою у двери. Жду, пока на меня обратят внимание.

— Вообще-то не положено, — она говорит, будто сама себе возражает, — но ладно уж — вчера таскал, сегодня мерз... Какую тебе?

— Вот эту! — нужная мне книжка где-то в середине стопки. И пока библиотекарь извлекает ее, сердце у меня замирает: вдруг ошибся — и книжка не та, ведь ворошить всю грудку заново она, конечно, не будет.

— Гайдара? — вопросительно-утвердительно спрашивает она.

Та! Я торопливо киваю.

Она записывает название в мою потрепанную, со вкладышем, карточку, почему-то громко именуемую читательским

формуляром. Я мигом расписываюсь и на рысях устремляюсь домой.

Я еще не знаю, что там, в книжке, но душа моя сладостно поет в предвкушении чтения. Это потому, что Гайдар мне немножко знаком: «Р.В.С.» прочитал сам, «Чука и Гека» слушал по радио...

... Мое любимое место – в спальне у окна. Сквозь заледенелые двойные стекла пробивается солнечный свет и уже чуть-чуть греет. Синяя, с шершавинкой, обложка приятно холодит пальцы. Стараясь не спешить, открываю плотно спрессованные (еще никем не тронутые!), слегка потрескивающие страницы, читаю название – «Дальние страны»...

Проходит какое-то мгновение, и я погружаюсь в удивительный мир, бесконечно загадочный и далекий, и вместе с тем такой мне близкий и понятный. Я растворяюсь и плыву в нем – вместе с его героями...

Тепло, тихо, уютно. Прекрасные мгновения – слагаемые детского ощущения счастья – многогранного и многоликого.

За день до Первомая

Наша память избирательна и прихотлива. Почему одно помнится, а другое забывается? Мы не всегда это можем сами себе объяснить... Например, я помню мгновения, в которые впервые осознанно ощутил себя счастливым. Хотя повод к этому очень многим покажется до ничтожности несущественным.

Меня включили в сборную школы, отправляющуюся на районные соревнования. И вот как это произошло. Я тогда учился в шестом классе и особыми спортивными данными, увы, отмечен не был, особенно по части лёгкой атлетики. Несколько лучше у меня обстояли дела со спортивными играми – волейболом и баскетболом, которые входили в обязательную программу соревнований. И я страстно мечтал быть включенным в заветную шестерку счастливчиков, которым доверят отстаи-

вать честь родной школы, однако «не поглянулся» тренеру. Его звали Курмет Жусупов, он был на три класса старше нас и на общественных началах готовил «спортигровиков» к олимпиаде районного значения.

Мне сразу было дано понять, что на основной состав могу не рассчитывать, но я все равно ходил на все тренировки. На таких, как я, те, на ком Курмет остановил свой выбор, оттачивали игровое мастерство. Обычно мы играли пару таймов в баскетбол, после чего основная команда оставалась еще на свое собственную тренировку, а все остальные переходили в разряд болельщиков или отправлялись домой.

И вот однажды после одной из наиболее жарких схваток, в которой мы, дублеры, разумеется, проиграли, мне, единственному из них, велено было остаться на площадке с основным составом.

— Побросай в кольцо, — неопределенно сказал Курмет, как бы давая понять, что у меня появился шанс, но также и то, что он еще ничего не решил.

Я был готов бросать в кольцо истрепанный футбольный мяч (им мы пользовались за неимением баскетбольного) не только весь вечер — всю ночь... И не поверил собственным ушам, когда услышал курметовское:

— Завтра на тренировку — как штык...

Последнее было, разумеется, лишним. Я и в «вольнойиграющих» не пропустил ни одной.

На следующий день был праздник. Первое мая. Мы с соседскими пацанами ходили за совхоз в поле. Леса стояли еще полные воды от недавно растаявшего снега, а на подсохших возвышенностях уже проклеывался густо-зеленый дикий чеснок. Мы щипали его и ели. Пахло оттаявшей землей, от березовых колков разливалась прохладная свежесть. И куда бы ни посмотрел, о чем бы ни подумал, все время, каждую минуту помнил:

«Теперь я в команде, сегодня на тренировку...». Или наоборот: «Сегодня на тренировку. Теперь я в команде...».

И я пришел на ту тренировку. Кажется, один-единственный из всей команды... И был горд тем, что наш суровый Курмет не отправил меня по этому случаю домой. Мы с ним тренировались вдвоем...

Последний матч

После девятого класса меня взяли играть за совхозную сборную команду по футболу. Мне выдали оранжевую футболку под номером десять и старые растоптанные бутсы. Я понимал, какое мне оказано доверие, и всеми силами старался его оправдать. Старанием я пытался восполнить недостаток природных способностей.

По правде говоря, это удавалось не всегда. И чаще всего в послематчевых разборках ветераны команды Толик Шарипов и Яшка Галицкий высказывали мне свое неудовольствие. И я не обижался – молчал или говорил, что постараюсь следующую встречу отыграть лучше... А про себя думал: пусть ругают, лишь бы из команды не выгнали.

Иногда за меня заступался центровой защитник Герка Гордеев. Герка имел устрашающую внешность и весил больше центнера (его держали в команде для психологического запугивания соперников, хотя по натуре он был очень добр).

– Да ладно вам, – утробно гудел Герка, – ну, молодой... Научится еще.

Со временем я и впрямь кое-чему научился, и ругать меня стали реже.

Но лучшим в нашей совхозной команде мне было быть не суждено – я числился в середняках. Играл я на правом краю, в нападении, однако голами свою сборную не баловал. И всё же был в моей спортивной жизни матч, за который мне и теперь не стыдно.

В то лето мы, отыграв первый круг, вышли в финал районного первенства. И я тоже должен был ехать на него. Но я уже закончил школу и поступил на работу в районную газету. Стало быть, играть за родной совхоз мне теперь было нельзя. Однако председатель районного комитета по физкультуре и спорту, с которым я успел познакомиться, разрешил мне доиграть сезон в составе совхозной команды.

Решающим оказался первый матч – с нашими соседями из совхоза «Весёлая роща». Игра у нас почему-то не клеилась, и к концу первого тайма мы проигрывали со счетом ноль – один. И в этот момент я забил гол. Издалека, метров с двадцати – двадцати трех. Дело в том, что мне иногда удавались особые удары – удары после касания мяча о землю, когда энергия отскока умножается энергией удара собственной ноги... Тут самое главное – поймать момент отскока, и я его поймал. Конечно, я не был уверен, что забью гол, но мяч, описав большую дугу, угодил точно в левое перекрестие ворот. Вратарь видел тот мой удар, но недооценил... Это была чистейшая, классическая «девятка». Я глазам своим не верил. Но факт оставался фактом, и меня уже тискали партнеры по команде.

– Ребята, надо выигрывать эту встречу! – сказал в перерыве совхозный комсорг (а по совместительству и методист по спорту) Володя Давиденко. – Яша, Толик, что молчите?

– Беру на себя гол! – заявил Яшка Галицкий.

– И я беру, – сказал Толик Шарипов.

Остальные молчали, зная своё место.

Во втором тайме мне опять улыбнулось спортивное счастье. И это был уже не случайный, а трудовой гол. Кто-то из наших издалека «навесил» на «веселорощинскую» штрафную. Там был их защитник, и он готовился принять этот мяч... А я бежал к месту его приземления – именно мне он предназначался «на выход». Я бежал, и в этом было мое преимущество

перед ожидающим мяча противником. И я «прошел» его – этого сильного, опытного защитника, прошел на скорости, увидел заматавшегося в воротах вратаря и за мгновение до удара почувствовал: «Будет гол!». (Никогда с тех пор мне не довелось больше испытывать этого удивительного чувства уверенности – ещё до самого удара). И мяч заплескался в сетке ворот.

Это был единственный гол во втором тайме, который принес нам столь желанную победу. Еще одну встречу мы сыграли вничью, а одну проиграли, получив в итоге почетное второе место.

Домой наша команда возвращалась через райцентр. По пути завезли меня. Я не хотел оставаться, хотел ехать вместе со всеми, отметить удачу... Но я уже работал здесь и должен был остаться... Яшка Галицкий и Толик Шарипов открыли бутылку водки (это была лимонная водка желтого цвета), налили по полстакана себе, плеснули на доньшко мне.

– Нормально отыграл, – сказал Яшка.

Игру сделал, – оказал Толик.

И мы выпили – втроем. Потом они уехали. А я остался. Хотя душа моя уехала с ними вместе...

Из книги «Между прошлым и будущим»

Свет отчего дома

Когда-то давно я предложил двум своим братьям, имеющим, как и я, некоторое отношение к литературе, написать о нашем старом доме. «Ты журналист и поэт, – агитировал старшего, – тебе это вполне по силам». «А ты филолог, ученый – тебе и карты в руки, вспомни хотя бы традиции классиков... – убеждал младшего. – Давайте напишем все втроем – как у кого получится... Сравним... Может быть, сведем все вместе...».

Сначала они вроде загорелись. Но из этой затеи так ничего и не вышло. И вот теперь, спустя два с лишним десятилетия, я пускаюсь в это рискованное предприятие в одиночку, абсолютно не будучи уверенным в том, что у меня это получится.

Улица Абая, дом номер восемь. Это был наш адрес в бывшем целинном совхозе «Михайловский». Пишу – «был», потому что нет теперь ни дома, ни совхоза, ни даже его названия – все уже в прошлом, в памяти – моей, да, может быть, еще чьей-то.

Дом был как дом, ничего особенного – камышитовый, всегда чисто выбеленный, под шифером – таких строили большинство в раннюю целинную пору. И отличался наш дом от других разве тем, что шифер на нем постелили двухцветный. Скорее всего, просто такой попался шифер. Но мне это нравилось. Я даже втайне гордился тем, что крыша у нас особенная, не как у всех...

К сожалению, я совсем не помню, как строился наш дом. Не знаю, почему, ведь в четыре года человек уже кое-что сообщает, и важные события из того возраста должны откладываться у него в памяти. У меня не отложилось... А может быть,

меня в очередной раз отправили на лето к бабушке с дедом, и я приехал, когда наш дом уже стоял... Зато я точно помню: рос с ощущением, что дом у нас был всегда. И наполовину вросшая в землю пластяная баня на задворках усадьбы. И колодец с журавлем, куда мать в летнюю жару спускала ведро с молоком, чтобы оно не скисало... И погреб рядом с колодцем – холодный, как тогда говорили; в него мы закладывали на зиму картошку и всякую солонину – квашеную капусту, соленые огурцы, помидоры, грибы и арбузы в бочонках... И два приусадебных огорода: один побольше, соток на пять, для картошки; другой, поменьше, на две стороны дома, для овощей и столовой зелени. Еще стояли рядом два сарая, один из которых еще недавно служил нам жилищем.

Я никогда не задавался мыслью о том, откуда взялось все это. Мне казалось, что так было всегда. И даже клены и тополя, прикрывающие летом фасад нашего дома своей тенью, а зимой служившие прибежищем огромных – до самых окон и выше – сугробов, даже эти деревья казались мне всегдашними здешними обитателями.

В нашем доме я больше всего любил две вещи: большую русскую печь и чердак. Правда, печь, занимавшая прежде треть нашей просторной кухни, просуществовала недолго. Мать говорит – прошла мода на них – вот и избавлялись...

А вот чердак я запомнил хорошо. На нем мне позволялось летом ночевать с кем-нибудь из друзей. Вечерами тут было темно и душно: шиферная крыша за день накалялась на солнце и медленно отдавала тепло. На чердаке пахло пылью... Временами становилось страшновато – ребята постарше говорили, что на чердаках ночуют летучие мыши, что они пьют кровь людей и животных. Но скорее тут было уютно – среди старых подшивок «Огонька», перевязанных шпагатом; отслуживших свое и непонятно зачем хранимых старых сапог и ботинок, дырявых

пальто и одеял, прочей домашней утвари... Через щели в крыше ночью проглядывали звезды, отчетливо слышны были голоса редких прохожих с улицы, доносилось мерное допотопное топотание тополиных листьев... И уж совсем становилось славно, когда начинал накрапывать дождь – под его негромкий аккомпанемент так неслышно и сладко подкрадывался сон...

* * *

Собственно, из-за этого самого дома наши отец с матерью и поехали на целину. Уж десять лет прошло, как закончилась война, с которой вернулся отец, и восемь, как они поженились. Уже было трое детей на руках, а собственного жилья они так и не завели. Мотались по городам и весям в поисках лучшей доли. Вот мать и настояла, наслушавшись радио и разговоров: «Поехали! Говорят, там людям хорошие ссуды дают, всем, кто строится», – убеждала отца. Он пошел по инстанциям, все разузнал... Сначала думали обосноваться в Омской области, а потом кто-то из родни присоветовал: «Езжайте в Казахстан – тут недалеко новый совхоз открывают... Какая-то сотня с лишком километров от нашей Чубаровки...». На том и порешили.

Отец получил путевку райкома комсомола, дождался отправки очередной партии добровольцев...

Пробивались от Купино к месту будущего совхоза с колонной тракторов и автомашин 120 километров еще по снегу, до весеннего бездорожья... Местность приглянулась: тот же простор, что и в соседней Сибири, те же березовые колки... Нет, правда, привычных чубаровских грив да полыни побольше, но разве это беда?

Весной, ближе к лету, приехала и мать с нами тремя: старшим, Шуркой, мной и младшей Наташкой. Шурке еще не было пяти, мне недавно исполнилось два года, Наташке – год. Жили

в палатке, какое-то время – в самодельном шалаше (тогда говорили – в балагане), первую зиму зимовали в наскоро сооруженной землянке... А уже на следующий год родители твердо надумали строиться.

О том, как это было, я могу судить лишь по рассказам матери. Отец взял ссуду – десять тысяч рублей. Приличная по тем временам сумма, едва ли отец с его зарплатой сперва радиста, а потом завтоком, инженера-электрика мог заработать такую за год... А ведь жить приходилось все первые годы на его весьма скромную зарплату, мать сидела с нами... Восемьдесят процентов ссуды полагалось вернуть в течение десяти лет, оставшуюся часть погашало государство.

Ссуду в первые целинные годы брали почти все, и самостройные, как их называли, дома в ту пору здесь росли, как грибы в окрестных колках после хорошего июльского дождя. В лето на четырех главных совхозных улицах – нашей Абая, соседней Хрущева (потом ее, понятно, переименовали, но еще очень долго называли по-старому), Целинной, Ленина – ставили в общей сложности до полутора десятков домов. Это были в основном камышитовые и саманные постройки. Но предпочтение отдавалось все же камышитовым. Они, по словам матери, в любое время года оставались сухими и теплыми, а летом отлично сохраняли прохладу. «Не то что саманные – те вечно мокрели», – говорила мать. Хотя, наверное, дело еще и в другом – камышитовый дом было поставить проще, он обходился дешевле – и по деньгам, и по трудам. Но мать несколько не грешила против истины и в первом: я по себе знаю, что зимой у нас в доме всегда было тепло, летом – прохладно, и никогда не бывало сыро. Нигде и никогда мне так хорошо не спалось, как в том отчем доме.

«Частные» дома целинников ставила специальная бригада плотников, которой командовал Иосиф Пуцелев – отец моего

лучшего будущего школьного друга Тольки. Плотный, коренастый, с черными кустистыми бровями, он был мастеровит и малоразговорчив, а еще имел славу лучшего в округе охотника (именно в их доме я впервые попробовал жареного зайца).

Лес для строительства возили за четыре с лишним сотни километров из Чалдая и частью – из окрестных колков, камыша было вдоволь на окрестных озерах, его заготавливали зимой, по льду, по снегу, впрок... Бригады женщин вязали из него специальные камышитовые маты – по сути, готовые строительные блоки.

Итак, плотники при помощи хозяина будущего дома ставили каркас – с разделами комнат, дверными и оконными проемами. Скелет дома был деревянный, а внутренности стен и простенков – камышитовые. О лучшем теплоизоляционном материале и мечтать не приходилось. Кстати говоря, вместо камыша некоторые хозяева зачастую использовали при сооружении сараев и других надворных построек степную полынь, в огромном количестве произрастающую в округе. Тут были настоящие полынные заросли, которые запросто скрывали взрослого человека в полный рост...

Враз одолеть черновую отделку дома в одиночку любой семье было не под силу. Тем более, что времени у будущих хозяев на это оставалось всего ничего – несколько летних месяцев. Зимовать же все, кто строился, собирались уже в своих новых жилищах. И тогда целинники вспомнили – жизнь заставила – давнюю народную традицию – опыт артельного труда.

Это называлось помощь.

Помощь собирали для того, чтобы на первый раз обмазать глиной камышитовый каркас дома. Мать говорит, что практически никто не делал эту работу в одиночку, ее делали артельно все те семьи, которые строились в одно лето. Действовал и своего рода поток, негласная очередь – как только плотники закан-

чивали ставить очередной каркас, хозяин с хозяйкой обходили артельщиков и звали их в ближайший выходной на помощь. Отказываться было не принято: сегодня пойдешь помогать ты, завтра придут на помощь тебе. Поэтому, говорила мать, хоть гори у тебя самой все огнем – на помощь надо идти.

Накануне у дома, который собирал помощь, делался большой замес. Гусеничный трактор как циркулем расчерчивал на земле круг, плугом вспахивая внутри его землю – и небольшой слой чернозема, и глину под ним; хозяин заливал свежую вспашку водой, трусил сверху солому, а трактор все это перемешивал своими гусеницами. Проходил не один час, прежде чем достигалась нужная кондиция – крутая и тяжелая смесь чернозема и глины с измельченной соломой. Настоящий, кондиционный замес поддеть лопатой было почти невозможно, поэтому его цепляли только вилами, и он на них прекрасно держался, этот своего рода целинный бетон. Им-то и предстояло обмазывать, хотя вернее будет сказать – оббивать – камышитовые стены дома...

Часам к девяти – десяти утра собиралась помощь – пар восемь – десять, мужья с женами; мужики – с вилами, женщины – с ведрами. Мужики грузили и разносили на носилках замес, женщины вталкивали, вбивали его кулаками в камышитовые стены. И если мужская работа была просто тяжела физически, то женская требовала известной сноровки. Тут заправляли, командовали – давали первые уроки всем остальным – бабка Ганжиха, наша соседка, и бабка Толстая с улицы Ленина, освоившие эту науку раньше. Скоро нехитрому занятию черновой отделки обучились все, кто хотел, – жизнь заставила. И если на то, чтобы обмазать первые дома, уходило по целому дню, то потом управлялись часов за пять-шесть. Так или примерно так строили свои жилища семьи – наша, Агеевых, Пуцелевых, Музыченко, Толстых, Бондаренко, Шайдт... Когда собирали по-

мощь, работали всегда дружно, споро, с минимальными перекурами. Часам к двум-трем, сделав дело и наскоро умывшись и приодевшись (а иные и не переодевались), усаживались в только что обмазанном доме, где еще не было ни дверей, ни окон (на сквозняке обмазка скорее сохла, намертво присыхая к стенам), за грубо сколоченные деревянные столы – их тоже носили от дома к дому – туда, где работали... Хозяйка в этот день вместе со всеми не работала – ее заботой было приготовить на всех обед, потому что никакой иной платы за помощь не полагалось. К этому дню заблаговременно гнали самогон, который наливали мужикам в граненые стаканы и по полной, женщинам – в стопочки-стаканчики. Все знали, у кого самогонка особенно удастся, и иногда заказывали им на такой случай. Но деньгами за эту услугу не расплачивались – давали, сколько надо, сахара. Вино если и брали, то почти не пили – разве что утром на опохмелку... Не считался излишеством и бочонок пива с ящиком вяленого чебака – их загодя привозили из Купино, где были пивзавод с рыбозаводом. Впрочем, пивом угощали не у всех, что также не считалось неуважением – на нет и суда нет. На первое подавали борщ, на второе – тушеную картошку с мясом, на закуску – селедку, на третье – кисель или компот... Тут же, за общим столом, кормили всех детей. Выпив и закусив, выходили во двор потанцевать, пели частушки. Ни один обед после помощи не обходился без гармониста – они были нарасхват.

Разбредались, «уже хорошие», когда пастухи гнали скотину домой... Утром кое-кто из мужиков прибегал опохмелиться, что тоже не считалось предосудительным.

А дом сох еще несколько дней. Потом хозяйки мазали его еще на второй и на третий раз, но уже либо сами, либо с помощью подруг или соседок, потом шпаровали и, наконец, белили. И становился он белым и чистым – именно таким мне всегда вспоминается наш дом.

А наш двор – чего только в нем не было! Турник. Теннисный стол. И даже волейбольная площадка – самая настоящая, со столбами и сеткой, размеченная по всем правилам. Тут такие баталии разворачивались... Благо, что боковая стена дома с пристроенной к ней позднее кладовой не имела окон... До сих пор удивляюсь, почему родители терпели в своем дворе всю эту вечную ребячью толкотню?

Повзрослев, я уже сиживал вечерами на скамеечке за забором у нашего дома – такие же были почти у всех усадеб.

И сидел я не просто так...

Вечерами по нашей улице иногда прохаживалась с одной-двумя подружками моя одноклассница Танька Шаповалова. Танька была на голову выше меня и вообще взрослее, значительнее, а я – чего уж теперь скрывать – тайком вздыхал по ней. Нам было, наверное, лет по тринадцать-четырнадцать, я писал за нее сочинения... По «Евгению Онегину», по «Герою нашего времени»... Один раз это происходило у нас дома. Танька сидела за круглым столом, покрытом красной плюшевой скатертью с бахромой и кистями, а я прохаживался по комнате и диктовал: «Пушкин как бы спрашивает своего героя: «Но были ли счастлив мой Евгений, свободный, в цвете юных лет, среди блистательных побед, среди вседневных наслаждений?». Тут я делал паузу и, дождавшись благосклонного кивка: «Готово, записала...» – продолжал: «И сам отвечает на него: «Нет, рано чувства в нем остыли, ему наскучил света шум...»».

Я подходил к Таньке, заглядывал через ее плечо в тетрадку, заботливо поправлял: «Чувства» пишется с «вэ» перед «эс»... Так, записала?».

Снова кивок в ответ.

«Все понятно?».

«Не-а», – машет в ответ головой.

«Что непонятно?».

«Непонятно, какой у света может быть шум... Свет он и есть свет...».

Танькина непонятливость начинает меня раздражать, но... сердцу не прикажешь, и я продолжаю роль терпеливого наставника:

«Ну, это высшее общество Петербурга... Знать... Дворяне-князья, графья...».

Она мечтательно закидывает голову: «И чего это ему, интересно, наскучило? Мне бы вот не наскучило...».

Конечно же, я рассчитывал на Танькину благосклонность, хотя, как теперь понимаю, моя персона если и интересовала ее, то лишь в сугубо практическом смысле – как устроителя четверки за сочинение...

Много ли мне надо было от нее в те летние вечера, чтобы почувствовать себя почти счастливым, сидя на скамеечке у дома? Вполне хватало полуоборота в мою сторону, одного кивка, одной улыбки...

Подстать нашему скромному жилищу были и другие на улице Абая. Те же камышитовые или саманные дома под шифером, те же усадьбы с надворными постройками, те же огороды и палисадники... Но сколь непохожими друг на друга подчас оказывались их обитатели! Каждый дом и каждый двор – это был целый мир. Вот, например, у нас все было нараспашку – усадьба просматривалась со всех сторон, двери никогда не запирались... Кажется, у нас и замка-то никогда не вошло, и если все уходило, просто прикрывали дверь, ставили вплотную к ней ведро – любому ясно, что дома никого нет. И так было

не только у нас, а у многих. Может, потому, что нечего было красть?

Через дорогу от нас, наискосок, жили Ищенко. Их дом наоборот был, как любят теперь говорить, крепостью и для тогдашних соседей, а особенно ребятни, всегда оставался тайной за семью печатями. Хозяин (в совхозе его все от мала до велика звали в разговорах меж собой Ищенко – по фамилии) неопределенного возраста, вечно насупленный, сумрачный, будто чем-то недовольный, служил лесником в соседнем Михайловском лесничестве. Ходил чаще всего в форменной одежде, что придавало его облику еще большую строгость, суровость. Мы, пацанва, боялись его как огня, старались обходить, не попасться на глаза. Его сторонились и взрослые, и, кажется, недолюбливали. А может (думаю это уже теперь), потому все это было, что он стоял на страже леса и не позволял целинникам приворовывать стоящую древесину в окрестных колках. Ведь последнее отнюдь не считалось в народе большим грехом – жить среди леса и не поживиться, не срубить задарма десяток-другой березовых жердей для сарая?

Как бы там ни было, жили Ищенко сверхзамкнуто, отгородившись со всех сторон глухим дощатым забором выше человеческого роста. Во дворе бесновалась на цепи и бегала по проволоке здоровенная овчарка, которую, впрочем, тоже почти никто в глаза не видел. Но самое жгучее любопытство у нас, соседской ребятни, вызывал ищенковский сад, в котором росло с десяток-полтора яблонь. Таких яблонь не водилось ни у кого. А как аппетитно и дразняще светились на деревьях красными и розовеющими боками поспевающие к осени яблоки, как будоражили наше воображение, как манили к себе... Как нам хотелось хотя бы раз в жизни оказаться в этом саду. И вот что странно. Большинство из нас были далеко не пай-мальчиками: грешным делом совершали набеги и на совхозный сад-огород,

и на бахчи, и к соседям в огороды лазили... Но тут особый случай — смельчаков почему-то не находилось. И не собака тому виной, а нечто другое: и дом, и вся усадьба оставались для нас чем-то непонятным, запретным, внушающим не столько страх, а табу. Нельзя — и все тут.

Жена Ищенко работала в школе учительницей младших классов и, кажется, тоже страдала от нелюдимости мужа. У нас дома ее звали тетя Таня-Алексей, как окрестил учительницу один из первоклашек, силясь вспомнить ее имя-отчество. Отношение к ней в совхозе было исключительно уважительным; похоже, ей тайно сочувствовали — вот, мол, выпала же доля жить с таким...

А вот их дочь — худющая, голенастая Томка, всегдашняя участница наших уличных игр в лапту, умеющая как никто другой ловить даже самые «мертвые» мячи, была в доску «своим парнем» и нисколько не задавалась. Но даже она никого домой не звала, да к ней никто и не просился.

Я теперь думаю: интересно, куда они девали урожай со своих яблонь? На нашей крохотной теперешней дачке яблонь куда меньше, а яблоки каждый год девать некуда, раздаем... Ищенко их не продавали — это точно. Сами съесть тоже не могли — вряд ли те яблоки могли долго храниться. Ну, сушили, варенье варили... А может, скоту скармливали?

Ищенко́вский дом купили Баклановы. Первое, что они сделали, заселившись, — созвали всех соседей на новоселье. Мол, а как же иначе: надо познакомиться, и делать это лучше всего за общим столом...

* * *

Шарубины жили через дорогу — прямо напротив нас. Сказать, что мы были соседями — еще ничего не сказать. Наша мать

с тетей Верой были подруги – не разлей вода. Такими они оставались всегда – и в радости, и в горе. Вместе мазали и белили оба наших дома, вместе ездили на велосипедах доить коров на пастбище, не пропуская при этом по весне сорочьих гнезд и привозя нам на потеху и в качестве лакомства серо-зеленых в крапинку сорочьих яиц... Вместе ходили в баню, выпивая затем на пару трехлитровый чайник чая... Они становились крестными у детей друг друга. А их на две семьи набиралось более десятка. Мы с Шарубиными-детьми летом и осенью обшаривали все окрестные колки в поисках ягод и грибов...

Когда, не дожив до пятидесяти лет, от заурядной язвы желудка умер отец Шарубиных, весельчак и балагур дядя Вася, именно матери выпала тяжелая доля нести в соседский дом эту страшную весть... В ту пору старшая дочь Шарубиных Анна (по-уличному Нюрка) только-только заканчивала школу, а младшую, седьмую по счету, Ирку тетя Вера еще не успела отнять от груди... Говорят, что на похоронах тетя Вера была как каменная – не сказала ни слова, не уронила ни слезинки. Боялись, что она умом тронется. И было отчего: всех своих детей (она их в шутку иногда называла хеврой) предстояло поднимать одной, без кормильца дяди Васи. Как ей это удалось на сверхскромную зарплату инструментальщицы в совхозной МТМ, моему уму непостижимо. Воспитывались Шарубины в строгости, слово матери в семье было законом. За стол Шарубины садились только все вместе. Обращаю на эту деталь внимание лишь потому, что у нас в семье была по этой части относительная вольница.

Жили они, что там говорить, бедновато, но никогда не побирались; ходили чисто, хотя и донашивали одежду друг друга... Держали скот и птицу, садили помногу (до полгектара) картошки, пекли дома хлеб, старшие нянчили младших. Можно сказать, жили не хуже других, все дети как-то определились в жизни, завели свои собственные семьи.

Хотя не всегда это происходило гладко.

Как-то раз тетя Вера пришла к матери в слезах.

– Не знаю уж, что и делать, кума – хучь плачь!

– Что такое? – не на шутку встревожилась мать, зная, что характер у тети Веры – кремень и вышибить из нее слезу не так-то просто.

– Степка-то мой знаешь чего отчебучил?

– Да уж слышала, – спокойно сказала мать. – На Тамарке Садвокасовой что ли жениться хочет?

– Ну...

– Ну и что? Ему жить... Пусть женится...

– Как это что? – обиделась тетя Вера. – Выходит, знала – и молчала... А дети?

– А что дети? – не поняла мать. – При чем тут дети?

– Дети будут... казачата. – Имелось в виду казашата. И тетя Вера окончательно расплакалась. Мать взялась ее успокаивать, убеждая не мешать сыну строить свою жизнь...

Однако все и впрямь оказалось куда сложнее. Против была не только будущая свекровь, но и дед потенциальной снохи, аксакал, заменивший ей родителей. Он в свою очередь и слышать не хотел про русского зятя, вероятно, не в последнюю очередь заботясь о чистоте потомства своего собственного рода.

Пришлось матери пускать в ход весь свой авторитет, все свое обаяние, всю хитрость... Теть Веру ей удалось уломать довольно быстро, а вот с аксакалом пришлось помучиться... С первого захода успеха не добились, пришла вместе с молодыми, говорила – какая они пара, заставила выслушать их... Старик сидел с каменным лицом, не произнося ни слова... Каким образом матери в конце концов удалось растопить его сердце, остается загадкой... Скоро сыграли свадьбу.

А семья Степана Шарубина и Тамары Садвокасовой и впрямь получилась на зависть другим. И детей им Бог дал

на радость красивых и умных. А когда и в эту семью пришло горе — умерла их дочь — мать опять посчитала своим долгом быть в эти часы и дни рядом с подругой и своими крестниками. И снова это было более чем кстати. Назревал межсемейный конфликт: по какому обычаю хоронить умершую — мусульманскому или православному? Мать усадила спорящих за стол переговоров, и они обо всем договорились, в конечном счете отдав дань и одним, и другим традициям. А матери и тете Вере, вопреки незыблемым, казалось, правилам, даже позволили проводить в последний путь внуку на мусульманское кладбище, где похоронили дочь Шарубиных-Садвокасовых.

Люди, если они люди, всегда смогут понять друг друга.

* * *

Какой яркий, неповторимый люд обитал на нашей улице! Сколь замысловато подчас складывались судьбы! А какие были характеры! Вспомню лишь некоторых — кого подробнее, а кого — одной строкой...

Через два дома от нас, по одной стороне улицы, жили Карл и Фрида Отт со своей ребятней. Наверное, ни у кого на нашей улице Абая не было столь опрятного, красивого дома с резными ставнями, такого палисадника с невысоким резным же штакетником, таких красивых, всегда свежеевыкрашенных ворот. Хозяина все звали почему-то на женский манер — Карла. Так и говорили: «Вон идет Карла Отт», называя по имени и фамилии. Это был очень немногословный мастеровой мужик, отличный столяр и плотник... Случался, правда, и у него грех — мог выпить, и крепко, а потом шугануть жену. И тогда Фрида кричала так, что слышно было на всю округу: «Фашист ты, фашист недобитый. И дети твои фашистята!» Что отвечал ей супруг, родившийся и всю жизнь проживший в Советском Союзе, не-

известно – его голос вообще редко кому удавалось услышать. А на другой день их жизнь возвращалась в привычное русло.

Женщины-немки, не обремененные знанием «великого и могучего», изъяснялись меж собой так:

– Наша Эльса фышла самуж!

– Са кому?

– Ты косая Федька снаешь? Са ему!

Вообще немцев у нас в совхозе прижилось немало – и старых, почти не говоривших по-русски, и среднего возраста, а еще больше детей. Бабка Амалия, сухая, прямая как жердь, чем-то похожая на ведьму, была бессменной уборщицей и сторожихой в нашей школе и жила в землянке напротив нее. Правильнее будет сказать, что жила она при школе, часто строжилась на нас, но никто ее почему-то не боялся.

Тут же, неподалеку в переулке, жили Кенихи. С их сыном Аркашкой мы учились в одном классе, играли в футбол. Сухой, резкий Аркашка отличался бешеным нравом и с весны до осени ходил босиком. Он и в футбол лучше всего играл босиком, а надев кеды и тем более бутсы, становился на поле почти беспомощным. Жили Кенихи бедно, замкнуто. И лишь много позже я с изумлением открыл для себя, что их фамилия Кених – это искаженный вариант от Кениг, то есть король – звучала по меньшей мере как издевательство, во всяком случае в ту пору.

С Сашкой Гоасом мы десять лет проучились в одном классе и были очень дружны. Его отец Иван Федорович был лучшим мотористом в совхозе и обладателем одного из первых появившихся у нас мотоциклов с коляской. Зимой двигатель с мотоцикла снимали и устанавливали на лыжи, пристраивали пропеллер, и получались аэросани. Они развивали по снегу скорость до 35-40 километров в час.

Где ты теперь, друг мой Сашка Гоас? Пусть тебе икнетса в Германии!

Как и прежде, живут в бывшем совхозе мои любимые учителя Дарья Александровна и Борис Афанасьевич. Она всю жизнь преподавала в нашей Березовской школе немецкий, он – физику, математику, геометрию. Их фамилия – Русских, хотя Дарья Александровна – немка. В свое время в нее почти поголовно влюблялись старшеклассники, и один из них даже разразился четверостишем, насколько дерзким, настолько и восхищенным:

Наш милый рыжий педагог,

Ты царь и Бог,

Ты царь и Бог!

Родня никак не хотела отдавать Дарью Александровну за Бориса Афанасьевича – пришлого горожанина... Но та сказала, что все равно пойдет за него.

– Ну и дура! – слышала в ответ.

– Ну и пусть, – отвечала сама Дарья Александровна...

И никогда не пожалела о сделанном выборе. Как, впрочем, и Борис Александрович, которому мы в школе попортили немало крови.

Дарья Александровна – из семьи репрессированных немцев, рано осталась без матери. Выжили благодаря отцу – классному трактористу. Когда открылся железный занавес, и немцы потоком устремились на историческую родину, в том числе и многочисленная родня Дарьи Александровны, отец уезжать отказался. А особо досаждавшим с уговорами заявил так:

– Вот моя Германия... – и показал рукой в сторону старого деревенского кладбища...

... Сотни учеников Дарьи Александровны и Бориса Афанасьевича разлетелись по всему миру, некоторые нет-нет да и завернут на родину – на традиционный вечер встречи выпускников в школу, попроведать родню или просто с okazji. И почти никто не минует дома двух этих уже немолодых (увы!), но таких родных людей...

А из немцев мне еще помнится по младшим классам маленькая, чистенькая, гладко причесанная, всегда в белом фартучке Ольга Беккер. Она выглядела просто куколкой на нашем общем, не слишком опрятном, скорее неприглаженном, фоне.

Увалень и добряк, хозяйственный тугодум Вовка Дейбус был нашим неизменным классным старостой...

Немцы вносили в сумбурную, несколько суматошную жизнь целинного совхоза некое подобие основательности, размеренности, солидности. У них другие учились вести домашнее хозяйство, искусству соления-маринования-вяления-копчения... Они учили соседок делать кровяную и мясную колбасу, выделывать для них кишки, которые прежде выбрасывались... Немцы добавляли в целинный быт свою долю умиротворяющей гармонии.

Иное дело – ленинградцы. Эти на первых порах пытались держать себя так, будто они не чета всем остальным и слеплены из особого теста. Из-за чего не раз попадали впросак. Про них в совхозе и много лет спустя любили рассказывать такую байку. Муж спрашивает у жены: «А мы обедать сегодня будем?». Жена: «Я ничего не готовила». – «Почему?» – «А нас в гости позвали. Что ж мы наедемся дома, как дураки, а там сидеть будем?».

Про форсистых, одевающихся не по сезону, щеголяющих невпопад городскими манерами ленинградоков в первые целинные годы ходила ядовитая частушка:

Прорастают на току

Вика с повиликою.

Подержи мой редикюль –

Я пойду посикаю.

Скоро, впрочем, выяснилось, что большинство из тех, кто именовал себя ленинградцами, на самом деле не имеет к городу на Неве никакого отношения. Бывшие сельские или поселковые

жители этой области, они по-своему старались проявить себя на целине, и без них целинный быт потерял бы все свое многоцветье.

Одно время на нашей улице жила семья главного зоотехника Оралбека Кожанова: его родители и он сам с женой и детьми. Кожанов был подтянут и статен, на него заглядывались женщины, а мы, мальчишки, особенно ценившие силу и ловкость, из уст в уста передавали историю о том, как он продемонстрировал приемы самбо на одном из местных «авторитетов»... Это было что-то вроде показательного броска: тот сам «завел» Оралбека (видали мы, мол, таких самбистов) и получил наглядный урок.

Жена Кожанова – красавица Марьям – работала учительницей в нашей школе, отличалась строгостью и справедливостью. Оралбек (впрочем, в совхозе все его звали Урал бек) дружил с моим отцом, захаживал к нам в баню. Наша баня была знаменита тем, что топилась по-черному (за отсутствием трубы дым выходил прямо в дверь), в ней перебивал почти весь совхоз.

Кто же мог подумать тогда, что Оралбек Кожанов со временем станет председателем облисполкома – в ту пору первым лицом в области, напишет книги... Что мне придется часто встречаться с ним, и не только по службе... Сейчас Оралбек Кожанович возглавляет областной фонд имени К.И. Сатпаева.

Кого только не заносило на Целину! И как только люди здесь ни самоутверждались! Колоритнейшей парой на нашей улице были Хомутовы. Низкорослый крепыш – точно гриб-боровик – дядя Петя, гармонист и плясун, едва достигал плеча своей супруги тети Кати – дородной, необъятной как баобаб. Без них не обходилась ни одна гулянка на нашей улице.

Друзьями отца с матерью были Агеевы – дядя Саша и тетя Тося. Свою жену дядя Саша звал «моя опасна», моих родите-

лей – «кум» и «кума». Отец именовал друга «чалдон желтопупый». Первую целинную зиму Агеевы зимовали в нашей землянке – нас вместе было около десятка человек. Сидели «один на одном», смеясь, вспоминала мать. Меня дядя Саша чуть ли не с младенчества от слез отучал, страдая: «Смотри, станешь хныкать – буду тебя звать «пикулькой»! Агеевы часто бывали у нас, а наши родители – у них, гуляли чаще всего вскладчину, принося с собой кто чем богат: картошку, всевозможную солонину, холодец, вяленых чебаков...

Звали друг друга в гости на свежину – жареную свинину с картошкой, когда закалывали по морозам свиней. К нам на свежину заглядывал друг отца, местный казах Хасан Жусупов, а отец с матерью были не раз званы к нему на бешбармак. При этом мужья отлично себя чувствовали как у сковороды с дымящейся жареной свининой, так и у табака с не менее ароматной кониной, а их жены готовили друг для друга отдельно: говядину, курятину или баранину.

Баурсаки я в первый раз попробовал в доме моего одноклассника Сапара Алимова. Горячие, прямо из казана с кипящим маслом, они были так аппетитны и ароматны – казалось, я ничего вкуснее в жизни не ел. А с Бобкеном Джумалиновым (мы звали его на русский манер Вовкой) я дружил до тех пор, пока не оборвался его земной путь. С Мишкой – Мейрамбеком – Утеуовым и Нагимой Асылгожиной дружу и сейчас... Как и с нынешними россиянами Толькой Пуцелевым и Надькой Лукьянцевой, Вовкой Скотских и Сашкой Пыстиным. Они – тоже целинники, мои одноклассники, и никакие границы и суверенитеты никогда не смогут нас разделить.

А директором в нашей школе – тоже наш человек – одноклассник Кеннесары Едрешев. Мы прочили ему большое спортивное будущее и никогда – педагогическое. А зовем, как и тридцать с лишним лет назад, переиначивая его имя на русский

лад – Комиссаром. И его стройная, живая как ртуть, супруга Бижамал уже привыкла ко всем нашим чудачествам и всякий раз принимает как свою большую родню.

Самое экзотическое блюдо на целине научил есть сперва мужиков (а потом на это осмелились и некоторые женщины) Яков Кукарекин. Это был самый первый специалист по лишению кабанчиков важнейшей составной их мужского достоинства. Проще говоря – Яков Кукарекин их кастрировал. Сначала он вообще был единственный умелец по этой части, а потому и шел нарасхват. Разумеется, после каждой кастрации (это называлось «подложить» кабанчика) мастера следовало уважить – угостить. Выпивка само собой, а на закуску Яков Яковлевич предпочитал вещественные доказательства им самим проведенной операции – те самые кабаньи яйца. Женщины на первых порах плевались, принимали предложение поджарить «деликатес» как издевательство. Иногда мастеру приходилось браться за дело самому, затем нашлись смельчаки, первыми составившие ему компанию и за столом (разумеется, при обильной выпивке), а потом «свежина особого рода» и вовсе перестала быть чем-то особенным. Наоборот, в дело пошли и бычьи вырезанные яйца, которые, само собой, куда больше кабаньих... И скоро к этой трапезе приобщились и женщины, правда, далеко не все.

Другой легендарной личностью на нашей улице был дядя Вася Баюк – хитроватый мужик со своеобразным говором и весь как будто сотканный из жил. Он также умел делать то, чего не мог никто другой. Дядя Вася играл на бубне. Все сколько-нибудь значительные совхозные гулянки, а они случались едва ли не каждую неделю, были его. Бывало, его звали, чаще он заявлялся сам, но не сразу, а когда народ уже был хорош, и душа требовала веселья...

Взяв в руки бубен, дядя Вася буквально преображался, он как будто даже выше ростом становился. Мне он в такие минуты

напоминал шамана из фильмов. Он то держал свой инструмент перед собой, то вздымал кверху, то бросал его куда-то в бок, ударя в туго натянутую на обруч кожу то пальцами, то всей ладонью, то, выворачивая руку, локтем – как выражался мой отец – кандибобером... Чаще всего бубен служил дополнением к гармошке или баяну. Но дядя Вася мог выступить и соло... И уже никому не было дела до того, зван он на праздник или нет...

Еще дядя Вася обладал исключительным, фантастическим нюхом на спиртное. Однажды супруга, пряча от мужа, закопала в огороде с цветущей картошкой двухлитровую банку самогонки. Картошки было соток пять, но дяде Васе потребовались какие-то час-полтора, чтобы отыскать искомое...

Иногда у нас дома бывали Купенковы с Целинной улицы. Звали их по фамилиям: его – Купенков, ее – Купенчиха. Последняя прославилась тем, что одну из ее пословиц цитировало полсовхоза. А началось все с того, что на одной из гулянок она, устав выполнять за столом чьи-то просьбы, заявила: «Я вижу – все тебе не так: и перднешь – рассердишь, и набздишь – не угодишь!». Все так и грохнули. С тех пор и повелось. Даже теперь, спустя много лет, моя мать, пересышающая свою речь пословицами и поговорками (они у нее в разговоре – как хорошая приправа), нет-нет да и вспомнит Купенчиху с ее присловьем.

В любую погоду, в любое время года, исключая разве бураны, когда дома заносило до крыш, да еще весеннюю распутицу, когда без резиновых сапог из дома было не выйти, по нашей улице утром, в обед и вечером проезжал на велосипеде некто Гапонов, сухопарый молчаливый человек неопределенного возраста. По нему можно было сверять часы. Причем двигался он со скоростью обычного пешехода, и я всегда удивлялся: как это ему удается – ехать так медленно и сохранять равновесие?

Много у нас в совхозе было украинцев. Гнатенко, Филипенко, Продченко, Хищенко, Давыденко, Величенко, Симонен-

ко, Резниченко, Музыченко, Устиненко... Без их веселого само-бытного племени Целины также просто невозможно себе представить...

Веселого и отчасти беспутного Устиненко звали по его любимой присказке – «Не волнуйся!». Не по фамилии, не по имени-отчеству, а именно по этой фразе, которую он чаще всего употреблял на все случаи жизни.

А высокого, осанистого, значительного, всегда опрятного совхозного водителя Величенко звали «хитрый мужик».

Про завгара Продченко ходила частушка:

*Стоит Федя у ворот,
Широко разинув рот.
Не поймет никак народ,
Где баранка, а где рот.*

Обидные, конечно, строки, но что поделаешь, если Федя даже за баранкой чаще всего сидел с открытым ртом.

Над Гнатенко подтрунивали за его охотничьи рассказы, грешившие преувеличениями. Говорили так: «А вы слышали – Гнатенко вчера зайца завалил?» – «Ну, да – и что?» – «Не заяц, а целый кабан. Гнатенчиха одного сала с того зайца стакан натопила...».

На нашей улице жила семья по фамилии Покиньюборода. Были еще Ганжа, Черняковы, Годуновы. Были белорусы и молдаване. Часть целинников именовала себя «сибкрайскими» – эти приехали в совхоз из соседних районов Новосибирской области. Был даже один азербайджанец, Жора Курбанов, по кличке «Рубай компот – он жирный». Как-то раз Жора приехал на полевой стан, опоздав к обеду. Кто-то из мужиков и посоветовал подналечь на компот. С тех пор и повелось. Еще Жору доставал своими разговорами Иван Дрожанов – язвительный белотелый мужик. Жора был бездетный, а у Ивана – целый выводок пацанов – человек пять или шесть. «Что-то ты, Жора, не

то делаешь с Неллей Федоровной... – лениво цедил сквозь зубы Иван. – А может, ты для нее слишком маленький?» Дородная, пышнотелая Нелля Федоровна действительно была едва ли не вдвое массивнее мужа.

«Ты меня оставь с ней на ночь, – откровенно хамил Иван, – я тебе быстро дрожанят наделаю...». Самое удивительное, что Жора на это никак не реагировал – крутил головой, сверкал своими особенно белыми на смуглом лице зубами, улыбался...

Первый директор совхоза Стефан Васильевич Кирпанев, сам большой любитель выпить и закусить, специалистов воспитывал так. Тому из них, кто утром после совместного с ним загула опаздывал на планерку, полагалось принимать директора тем же вечером. Жены знали об этой уловке Кирпанева и потому с утра старались вытолкать из дому своих мужей пораньше...

Целинники были преимущественно молодыми людьми: влюблялись, заводили семьи и детей... Случались разного рода любовные казусы.

Тетя Шура Демьянец, смеясь, рассказывала, как познакомилась со своим будущим мужем. «Ехали в вагончике на тракторных санях – мороз, буран, света белого не видно... Приспичило выйти по малой нужде. Ну, сделали свое дело, а ватные штаны застегнуть с подружкой не можем. Хоть плачь... Мужики всполошились – послали одного на поиски. Оказался Миша, помог нам со штанами... Так познакомились, потом подружились... Вот уж почти 35 лет живем».

Не припомню случаев воровства в те целинные годы. Чрезвычайные происшествия, особенно уголовного характера, были большой редкостью. Я, во всяком случае, помню единственное убийство, когда парень зарезал другого парня из-за карточного долга. Почему-то он даже не пытался скрыться, сразу был задержан, его судили и дали, кажется, лет десять или

двенадцать. Отсидев их, он приезжал в совхоз, но жить в нем не стал.

А главным «авторитетом» по воровской части в ту пору был Витька Левенец – старший брат моей одноклассницы. «Загремел» он из-за какой-то глупости, года через полтора вернулся уже приклатненным. Но поскольку все его знали как облупленного, то и относились соответственно – не принимали всерьез его новые замашки. А иногда – вовсе откровенно над ним смеялись. На это Вовка реагировал так:

– А, что с вами говорить – темнота, ни одного заграничного слова.

Какие-то время его так и звали – «Темнота – ни одного заграничного слова».

Сколько таких историй помнит целина! Какое прекрасное, какое чистое было время! Конечно, как и в любом другом, в нем хватало всякого, но правда и то, что преобладали человеческое благородство, бескорыстие, людская искренность.

То время все дальше, все меньше тех людей, все глуше память о них. И хотя до сих пор еще стоят некоторые первые целинные дома, выветривается (уже почти улетучился из жизни) целинный дух. Кому-то и целина теперь как кость в горле... Хрущевская авантюра, одна из социалистических утопий...

Что я могу сказать на это?

* * *

Того нашего дома давно уже нет. Пришла в полное запустение, заросла степной мелколистной полынью, травой-лебедой, порослью молодого клена и еще бог весть чем бывшая усадьба. Даже бывшие наши огороды оказались никому не нужны. Приехав сюда прошлым летом с сыновьями, мы оказались даже не на пепелище, а на территории, чем-то напоминающей

заброшенную свалку... Я им пытался что-то показывать и рассказывать, но всем нам было одинаково грустно и неуютно на бывшем обиталище нашей семьи, хотелось скорее отсюда уйти...

А я до сих пор помню, как горел свет в окне нашего дома, в том окне, которое было видно далеко с улицы. Свет горел всегда — как бы поздно я ни возвращался. И завидев его, еще издали, как свет маяка, я испытывал, особенно после разлуки с домом, удивительное чувство. Это чувство трудно с чем-то сравнить — оно сродни предвкушению праздника, встречи с чем-то очень родным, теплым и добрым; это — как обещание скорого покоя и уюта.

Таким он был — наш дом — для всех его обитателей. Пусть таким и останется — хотя бы в моей собственной памяти. Ведь память — это не так уж и мало. Пока жива память — не умирает ничто.

2000 год

Владимир Гундарев

«Все, что могу, я на себя беру!»

За те десять с небольшим лет, что мы знакомы с Владимиром Гундаревым, в общей сложности не наберется, наверное, и полутора месяцев, проведенных нами вместе. Что несколько не мешает нам дружить и (пусть это и покажется кому-то высокопарным) чувствовать друг друга на расстоянии.

Все эти годы главным делом жизни Владимира Романовича был и остается журнал «Нива», когда-то им самим придуманный, выпестованный, переживший разные времена, чуть не умерший и теперь снова вошедший в пору своего расцвета. Все эти годы, сам оставаясь в тени, В.Р. Гундарев был, пожалуй,

главным собирателем литературных сил республики. «Нива», рассчитанная в свое время лишь на творческие силы Северного и Центрального Казахстана и читательскую аудиторию этих регионов, давно завоевала всеказахстанскую известность. А теперь журнал хорошо знают и в России.

Мне давно хотелось написать о Гундареве. Но так уж выходило, что наши не слишком частые встречи либо не оставляли времени для спокойных и обстоятельных бесед, либо сам он деликатно, но решительно уклонялся от разговора о себе.

И тогда я пустился на небольшую хитрость: составил перечень вопросов и отправил ему, попросив ответить на них письменно. Так родилась эта беседа, которую, впрочем, правильней было бы назвать воспоминаниями Владимира Гундарева о детстве, его размышлениями о собственных жизни и творчестве.

Мы договорились с ним, что будем общаться, как и в жизни, на ты. И еще я попросил Владимира Романовича по возможности проиллюстрировать ответы на вопросы и выдержками из его стихов.

«В душе пора не запорошена...».

– Все мы родом из детства. Каким было твое? Расскажи о родителях, ярких впечатлениях детства.

– Я – человек деревенский. И не стыжусь этого. Родился я 19 июля 1944 года, как говорила моя мама, на восходе солнца. И мне кажется, что этот нежный утренний свет, несмотря на все жизненные передряги, сохранился в моей душе до сих пор, он и помогает мне все преодолевать. Родом я из глухих сибирских краев, из Кыштовского района Новосибирской области, который на северо-западе граничит с Томской областью, а на юго-западе – с Омской. От райцентра до железной дороги – 160 километров.

Здесь березовый свет,

журавлей на болотах рыданье,

*Рыжий колос у ржи,
бирюзовые очи у льна.
Вдоль угрюмых урманов,
возле топких озер Васюганья
Протянулась полоской
родная моя сторона.
Простоватой крестьянкой
притулилась у Тары неловко,
Не прельщая красой
и лукаво к себе не маня.
Но всему вопреки
неказистая вроде б – Кыштовка
Год от года дороже,
прекрасней столиц для меня.
Тяготенье земное –
в нем, Кыштовка, твое притяженье, –
Эту властную силу
я всегда ощущаю вдали.
И, старея, к тебе
я свое убыстряю движенье, –
Тут и мама моя
стала горстью родимой земли...*

Это уже из стихов последних лет, когда я попытался выразить свое трепетное отношение, свою любовь к этому краю.

Вообще-то родился я в селе Большеречье, но затем отец Роман Тимофеевич вернулся в свою родную деревню Ядрышниково, где жили его родители, младший брат и две старших сестры. Отец был старше мамы на десять лет. Ей было девятнадцать, когда она родила первенца – меня. Отец по тем временам был грамотным человеком – окончил 7 классов, у мамы же за плечами всего два класса. Отец уже повидал мир, жил и работал на Дальнем Востоке, в Амурской области, где жили

тогда его родственники, их и сейчас там много. Отец был болезненным, перенес много операций, поэтому и на фронт его не взяли. В Большеречье он был начальником сельской почты, а когда переехал в Ядрышниково, стал вместе с мамой работать в колхозе – пчеловодом на пасеке, а мама ему помогала. Можно сказать, что на пасеке я и рос. До сих пор тепло вспоминаю это время.

Послевоенное детство – как и у всех из моего поколения – было тяжелым. Досыта никогда не ели. С весны до поздней осени мы, ребята, переходили на «подножный корм» – дикий лук и чеснок, ягоды (земляника, клубника, малина, смородина, костяника, черемуха, боярка, шиповник, рябина, клюква, брусника), грибы, рвали в лесу медунки, так называемые «пучки», «шкерды» (очищали их стебли и ели), на берегах озер лакомились молодым камышом. В общем, знали множество съедобных трав. По весне зорили в колках сорочьи гнезда и пекли на костре или выпивали сырыми яйца. Этим и набивали животы. Но есть все равно хотелось. Главное – мало было хлеба. Да и картошки не вдоволь. Весной, когда на огороде сходил снег, мы собирали оставшиеся и созревшие клубеньки, мама их очищала от кожуры, смешивала эту серую массу и жарила нам на железной печурке драники. Вкусноты необыкновенной!

Немного подрос, лет с 6-7 пристрастился к рыбалке. Самодельными удочками (лески из волос конского хвоста) рыбачил на речке Таре, где ловил пескарей, ершей, чебаков, ельцов, окунишек, и на многочисленных озерах, где водились караси и гольяны. Увлечение карасями у меня сохранилось до сей поры. В рыбалке я был удачлив. К тому же это была весомая прибавка в столу. Мама всегда радовалась, когда я возвращался с добычей. Этому умению меня научил мой крестный дядя Саня, он был сторожем на пасеке, мы с ним там ночевали, а раненько уходили рыбачить на озеро Конопляное – в километре от пасеки.

По ведру карасей иногда притаскивали! Из всех снастей я признавал только удочки. Кстати, о дяде Сане у меня есть стихи «Все может быть...». Приведу такие строки:

*... И только сторож пасеки колхозной
(Был одноногим дядя Саня наш)
Считался человеком несерьезным,
Внося в беседы эти ералаш.
Был весел он, философ деревенский,
Мастак затеять безобидный спор,
То острое словцо вдруг вставит веско
Он в простодушный сельский разговор,
В глазах скрывая синие сполохи,
Невозмутимый сохраняя вид,
Такое скажет, что дружный хохот
Раскатами в деревне загремит.
То новостью внезапной ошарашив,
С три короба, придумщик, наплетет,
Потом, поправив ногу-деревяшку,
Опять сигарку новую свернет.
Любил он повторять одно и то же,
Ладонью припечатывая в такт:
«Все может быть,
лишь быть того не может,
Чего уже не может быть никак»...*

Ну и так далее.

Колхоз — он и для детворы колхоз. Сызмальства мы стали помогать старшим. Сажали и копали картошку, во время сенокоса (а все тогда делалось вручную и на конской тяге) на лошадях возили копны. Женщины косами-литовками косили траву, а мы, мальцы, когда трава в рядках подсохнет, граблями переворачивали сено. В общем, дел и нам хватало. В уборку, когда подросли, были копнильщиками на уборочных агрегатах,

помогали обмолачивать рожь, горох, рвали лен-долгунец. Зарабатывали первые трудоводни, на которые по итогам колхозного года мало что причиталось. Впрочем, речь сейчас не об этом. Просто мы не были тогда белоручками и в меру сил помогали родителям...

Да, забыл сказать, что деликатесами для нас, детей, были брюква (особенно пареная), репа и кормовой турнепс. Хлеб же мама пекла в печи ржаной, да и то смешивала муку с тертой картошкой. Вот такие ковриги и насыщали наши голодные рты. Белого – пшеничного хлеба мы (через три года после меня родился брат Михаил) не видели. Такой хлеб ела только семья моего родного дяди Трофима (он работал в МТС бригадиром тракторной бригады), жившая в доме-пятистенке моего деда Тимофея Кондратьевича рядом с нашей неказистой избой. Иной раз, когда голод давал о себе знать, я стоял у высоких тесовых ворот этого крепкого двора и клянчил: «Тетя Лена, откложите лавота (так я произносил слово «ворота»), дайте мне хлеба». Жена дяди Трофима выходила, открывала с щеколды калитку и выносила мне душистый пшеничный ломоть. Многое из той поры стерлось в памяти, а вот это попрошайничество осталось. (Вообще-то хлеб досыта мы стали есть где-то с 54-55 года, когда началось освоение целины).

Дед Тимофей (бывший мельник, а потом плотник, и очень умелый), мягко говоря, был скуповат и прижимист, под стать ему была бабушка Евпроксия (умерла в 1957 году). Кстати говоря, дед был рыжебород, курил трубку, больше молчал, чем говорил, на нас, внуков, внимания не обращал. Породы он был крепкой, прожил до 86 лет, правда, трубку уже не курил, но стопочку-другую (когда я приезжал в деревню в гости, уже став журналистом) вместе со мной выпивал. Под конец жизни он подобрел ко мне и охотно со мной общался, хотя говорил по-прежнему мало. Наверное, что-то от деда Тимофея (его звали

в деревне «дед Тимак») передалось и мне. Во всяком случае, курение трубки. А вот дожить до его лет – об этом и мечтать нечего.

Отрадой той поры для меня была пасека. Я любил там бывать, с любопытством наблюдал за таинственной для меня жизнью пчел, укусов их не боялся (хотя, бывало, что пчелы и жалили меня), любил густой и тяжелый аромат раскинувшегося рядом с пасекой белого поля цветущей гречихи, с которой пчелы собирали тягучий нектар. А когда отец качал мед, я помогал крутить ручку медогонки, а потом с удовольствием ел «ошурки» – срезанные с рамки верхние части запечатанных пчелами восковых сот. Однако не был падок на мед, особого пристрастия к нему не испытывал – в отличие от брата Мишки, который мог съесть этого лакомства довольно много. Пожалуй, именно на пасеке, в прекрасном уединении, я научился общаться с природой, полюбил ее.

О том времени у меня есть написанные еще в молодости стихи «Слово об отце». Приведу несколько строф:

*В душе пора не запорошена,
Ее я снова повторяю:
Вот смеха катятся горошины,
С отцом опять я говорю.
В лохматых каплях клевер розовый,
Мы на траве лежим с отцом.
И день – белесый и березовый,
К нам прикасается лицом.
Синичка рядом тонко тенькает,
Спешат куда-то муравьи.
Мое сердчишко бьется птенчиком
От неосознанной любви...*

Когда я писал эти и последующие строки, то видел перед собой пасеку и ее окрестности.

«И мне в четырнадцать мальчишеских
Пришлось отчаянно мужаться...».

– *Где и как ты учился? Твои воспоминания, связанные со школой.*

– В родной деревне Ядрышниково я закончил школу-четырёхлетку, а потом стал учиться в семилетке – в соседней деревне Заливино, где жил брат моей матери дядя Алексей, бывший фронтовик. Было одно неудобство – наши деревни находились друг от друга всего в трех километрах, но их разделяла река Тара. Переправиться на другой берег можно было только на лодке. С этим же постоянно возникали проблемы. Весной и осенью по этой причине не каждый день прибежишь из школы домой, приходилось обитать у дяди Алексея. Да и зимой – в морозы и снегопады – тоже дома появляешься один-два раза в неделю. Вот и жил я у дяди Алексея, принося для питания в тощем мешочке – «сидоре» не то что снедь, а так, что было – ковригу хлеба да шмат сала. Тетя Маруся – жена дяди Алексея – относилась ко мне по-доброму, всем, что было на столе для своих, кормила и меня.

С одежкой и обувкой в то время тоже худо было. Много лет спустя, когда меня на родине узнали как поэта, учитель литературы и русского языка в семилетке Леонид Павлович Полукеев (он, к счастью, жив-здоров и сегодня) рассказывал моей однокласснице Светлане Масловой, с которой мы потом учились в средней школе в Кыштовке (мать Светланы – родная сестра Полукеева): «Никогда не забуду 1 сентября 1955 года. К нам тогда в пятый класс из деревни Ядрышниково пришли несколько учеников. И вот – торжественная линейка. Каждый обут, одет – насколько позволяли возможности родителей. Смотрю – и глазам своим не верю: один вихрастый мальчишка стоит в этом строю... босиком! Это был Володька Гундарев».

Я любил школу, любил учиться. Ровно успевал по всем предметам. Но особенно любил литературу и русский язык.

Читал запоем. (Я и сейчас постоянно учусь, правда, больше забываю, чем оставляю в памяти). И Леонид Павлович всячески поощрял мою тягу к знаниям, мой интерес к литературе. Уже тогда я сочинял стихи. Леониду Павловичу я признателен за поддержку. Многим я обязан и своему первому учителю, бывшему фронтовику Михаилу Федоровичу Чебыкину (он тоже, слава Богу, еще во здравии). Михаил Федорович учил меня с первого по четвертый класс и был расположен ко мне.

Через год, где-то с шестого класса, из нашей деревни только один я учился в семилетке, остальные мои сверстники и сверстницы по разным причинам бросили учебу.

В 1958 году я сдавал экзамены за седьмой класс. Только сдал первый экзамен (по математике, получил пятерку), как 2 июня, на Троицу, умер (в 42 года) мой отец. После его похорон я пришел, зареванный, на письменный экзамен по русскому языку и литературе. Директор школы предложил: «Мы тебя освобождаем от дальнейших экзаменов, поставим тебе тройки, согласен?». Но я отказался. Сказал, что буду сдавать. Пишу сочинение, а слезы капаят на тетрадные листы... Все же написал. Получил пятерку. На «отлично» сдал и последний экзамен.

После смерти отца (нас у мамы осталось четверо – кроме меня и Мишки, две сестренки: шестилетняя Вера и годовалая Наташка) надо было помогать матери. И я лето работал в колхозе прицепщиком на тракторе у дяди Трофима (к тому времени он стал уже рядовым механизатором). Были не только дневные смены, но и ночные, особенно трудные для меня. Ничего, привык, втянулся. Даже трактором ДТ-54 научился управлять.

Это время тоже запечатлелось в стихотворных строчках:

*А пчелы брали мед в гречишнике,
Гудели в желтой мгле акаций.*

*И мне в четырнадцать мальчишеских
Пришлось отчаянно мужаться.
Мгновенно кончились все праздники,
Мне тяжелее час от часа —
В июньский день на тихой пасеке
Отец скончался...
И плакал я от горя страшного,
Как плачут дети, враз взрослея.
Стал неожиданно за старшего
В своей потерянной семье я...*

Вполне возможно, что впоследствии я бы стал механизатором, а то, глядишь, и бригадиром... Но мне хотелось учиться. Уговорил маму отпустить меня 1 сентября в восьмой класс. Средняя школа находилась в райцентре, в 25 километрах от нашей деревни. Значит, в Кыштовке надо было определяться к кому-нибудь на квартиру. Слава Богу, жил не у чужих людей, — у дальних родственников со стороны отца, но все равно не дома... У меня всегда глаза на мокром месте, когда я смотрю фильм по рассказу Валентина Распутина «Уроки французского». Это и обо мне тоже. Во всяком случае, в отдельных эпизодах узнаю себя, да и окружающая обстановка, дух времени — соответствует тому, что пережил и перечувствовал я.

В средней школе мне очень повезло с преподавателем литературы. Раиса Павловна Рассказова сыграла большую роль в моей судьбе, всячески поощряла мое увлечение стихотворчеством, относилась ко мне... ну... как к близкому человеку, переживала за меня и поддерживала, воодушевляла. И я сам всегда впоследствии испытывал к ней теплые, прямо-таки родственные чувства. Она тогда даже мои сердечные тайны знала. Да и потом, спустя годы, догадывалась, что я всегда любил одну свою одноклассницу. К сожалению, тогда без взаимности. Мы до сих пор с Раисой Павловной в дружеских отношениях. Нынче ей ис-

полняется 75 лет... А пять лет назад она отмечала свой 70-летний юбилей. Как раз в те дни моя младшая дочь Ассоль защищала в мединституте кандидатскую диссертацию. И все же я рванул на юбилей учительницы. Из всех ее бывших учеников я был единственным, кто приехал издалека, даже из другого государства.

Вообще о детстве, о взрослении, о трудной и прекрасной поре жизни можно рассказывать долго и много. Ведь именно там истоки всего. И хорошего, и плохого.

Что касается ярких впечатлений детства, то о некоторых из них я уже рассказывал. К этому добавлю, что когда я пришел «первый раз в первый класс», то сразу же любимой книгой стал букварь (до школы я читать не умел), я полюбил моих учителей, которых назвал выше, я был ошеломлен, когда стал понимать и чувствовать неброскую красоту природы. Об одном из ярких впечатлений детства можно узнать из стихотворения «Потрясающие события». Вот его начало:

*Не помню в каком году –
возможно, в пятьдесят первом,
Однажды по нашей деревне
полупорка пронеслась.
Шарахались куры и гуси,
в испуге теряя перья,
Но лихо летела машина,
разбрызгивая грязь.
А мы, пацаны босые,
на это чудо глазели,
Затем, подвернув штанины,
за ней припустили вмиг.
И пузырились наши
рубахи из бумази,
Мы ликовали: отныне
в колхозе есть грузовик!*

**«Нас честными отцовскими глазами
Оценивает время непрестанно...».**

– Первые ростки творчества: как, откуда, почему? Когда ты понял, что – поэт?

– Я был таким же, как все деревенские мальчишки, и все-таки внутри что-то необъяснимое меня будоражило и томило. В школе я сразу же полюбил стихи, чувствуя в них какое-то волшебство. И мне самому захотелось сочинять, придумывать. Кажется, во втором классе у меня получилось примерно такое: «Вытаращив глаза, бежит по дороге коза». Смешно? С этого все и началось. Мне понравилось рифмовать. Уже в семилетке мое пристрастие к стихам ни для кого не было секретом. А когда учился в средней школе, писал много, меня все называли поэтом, я уже тогда мечтал стать журналистом и писателем. С восьмого класса я стал своим человеком в редакции районной газеты «Колхозный путь». Сначала писал короткие заметки, а уже весной 1959 года было опубликовано мое первое стихотворение. Невозможно передать, что я испытывал, когда увидел напечатанными в газете свои стихи. С тех пор и пошло... Редакция районки стала для меня родным домом, по существу моей первой и главной в жизни газетой. Она дала мне путь в литературу. Поэт ли я – трудно сказать, но стремление им стать не давало мне покоя. Никогда не забуду такой случай. Еще был жив отец (кажется, это было незадолго до его кончины). Мы сидели за столом, обедали, и я вдруг брякнул: «Папа, а я хочу быть поэтом». Он так посмотрел на меня пронзительно, такую боль я увидел в его голубых глазах, что осекся. Отец ничего не сказал. Но уже потом, когда его не стало, я понял, что таил его взгляд. Отец наверняка чувствовал: жить ему осталось мало (год назад в Новосибирске ему сделали сложную операцию, вырезали одно легкое и от второго часть отрезали), а мне придется бросить школу и идти работать в колхоз... «В лучшем слу-

чае ты станешь трактористом, надо помогать матери растить младших. Вот тебе и вся поэзия...». Этот отцовский взгляд я чувствую и поныне... Я очень любил отца. И до сих пор для меня он очень дорог, я постоянно ощущаю его взгляд – но уже строгий и требовательный. Много лет спустя я написал стихи, в которых есть такие строки:

*И каждый раз, когда моя дорога
К порогу дома отчего вернется, –
Отец с портрета сразу глянет строго,
А мама в грудь мою лицом уткнется.
За худенькие плечи обнимая,
Оцепенею от гнетущей боли:
«Какая же ты маленькая, мама!
Как высохла от горькой вдовьей доли...
Становишься все меньше...
Что тут скажешь? –
Так облако под ярким солнцем тает.
В какой-то миг – представить страшно даже –
Неужто и совсем тебя не станет?
И все, что с нею связано – то свято,
И дорожусь я этим беспредельно.
А мама улыбнется виновато:
«И как тебя я нынче проглядела?
Ведь глаз с дороги не сводила прямо,
И все из рук валилось, право слово,
Как чуяла, что ты без телеграммы
Заявишься домой внезапно снова».
И хлопочет оживленно рядом,
И снedyю стол устави́т предо мною.
А я, отцовский пригвожденный взглядом,
Стою, не смея сесть к нему спиной.
И спазмы перехватывают горло:*

«Ну что, отец, ты душу мне тревожишь?»

И смотришь на меня с немым укором,

Ведь ты теперь меня уже моложе,

А я все старше буду год от года.

Такое предназначено судьбою.

Я без тебя одолевал невзгоды,

Ну в чем же я повинен пред тобою?

Ведь я над жизнью матери не властен,

От хвори уберечь ее не в силах...

Пусть не всегда

был путь мой прям и ясен

И ветром по земле меня носило

Из края в край,

но на дорогах трудных

Я не подвел, ничем не опозорив

Тебя и мать.

Так было и так будет,

Покуда надо мною светят зори...

Извини за длинное самоцитирование, не удержался... Заканчиваются эти очень важные для меня стихи такими строчками:

... И чтобы о давно ушедших память

Забвения травой не зарастала,

Нас честными отцовскими глазами

Оценивает время непрестанно.

По складу души я лирик, все, что меня тогда окружало, требовало выхода. Чувства, обуревавшие меня, хотелось выразить «складно», своими словами. Так было в начале творческого пути, так и осталось...

Мама – Мария Егоровна – после смерти отца тридцать с лишним лет работала на ферме телятницей, имела немало поощрений и наград, в их числе орден Трудовой Славы третьей

степени... Умерла в 1995 году, через два месяца после своего семидесятилетия... Брат и сестренки в свое время (каждый в разные годы и по отдельности) жили у меня в Целинограде, но потом все-таки по разным причинам вернулись в деревню, в сельской местности живут и сейчас. А вот у меня судьба сложилась иначе. Вопреки и наперекор обстоятельствам я шел к своей цели. Знаешь ли, отцовский взгляд меня подталкивал. Отец, как мне представляется, был и остается моим ангелом-хранителем. За последние годы он меня трижды спасал от смерти. Теперь все — «лимит» исчерпан... А еще, наверное, и данный мне какой-то божий дар не давал смириться, подталкивал вперед.

«Даже долгая жизнь все равно коротка...».

— *Как вообще пишутся стихи? Что первично: мысль, образ, тема, ритм, настроение?*

— Ну, на это я затрудняюсь тебе ответить толково и вразумительно, ибо «тайна сия велика есть». Стихи пишутся и рождаются по-разному, чаще всего стихийно, когда поступит толчок извне, может быть, свыше. Это называют вдохновением. Хотя можно себя и заставить писать стихи. Такое у меня тоже часто бывало. Работаешь-работаешь, пересиливаешь себя, ломаешь преграды, а потом увлечешься — и вдохновение накатило.

А что первично: мысль, образ, тема, настроение? Правил тут нет. Опять же случается по-разному. То вдруг зацепит тебя внезапно возникшая мысль, показавшаяся тебе интересной, не тривиальной, то появится зримый образ или сразу же в мозгу вспыхнет строчка, от нее и начинаешь «танцевать», мгновенно отключаясь от окружающего тебя мира. Многое значит и настроение... Все это сугубо индивидуально. Нередко озарение приходит в совершенно неподходящей ситуации. Это может быть и на шумной улице, в грохочущем поезде или в перепол-

ненном автобусе. А то и ночью строчка приснится... Первично все-таки Слово... Спроси у своей жены, поэтессы Ольги Григорьевой. Думаю, она ответит то же самое.

Сказывается и настроение. Многие стихи окрашены настроением автора. Оно может быть всяким. В зависимости от него и тональность стихов.

Вот сравни:

*Ах, какое настроенье у меня! –
Словно радостью внезапно наградили.
Я иду по бело-синей кромке дня.
И белы деревья, как на негативе.
И дома белы на улице, взгляни:
Облаченные в сугробы изваянья,
Низко крыши нахлобучили они,
Погруженные в свои воспоминанья...*

Это относительно ранний Гундарев.

*Все так же, как весной,
Бывает в октябре,
Когда в тиши лесной
Стоят деревья голы.
Березы на заре
Блестят, как в серебре,
Но морок пеленой
Окутывает доли.
И дождик проливной
Из низких облаков,
И в речке предо мной
Опять набухло русло.
И стайки воробьев
Сухой находят кров.
Все так же, как весной.
... Лишь только грустно.*

Это написано уже в годы зрелости.

А вот строфа из «поздней» лирики:

Даже долгая жизнь все равно коротка,

А ведь я еще даже и не жил.

И тебя, – мимолетно коснувшись виска, –

Слишком мало ласкал я и нежил...

Или вот:

... Теперь же мне под шестьдесят.

Но ясен мой беспечный взгляд,

В душе я молод – ты со мною!

И что оставшийся мне путь,

Коль силы распирают грудь

И осень кажется весною!

Эти строчки взяты из стихов, выплеснувшихся уже нынче, в 2002 году. Пожалуй, вне зависимости от возраста многое в стихах определяет именно настроение. Но к этому нужны еще умственные и прочие способности.

– Кто поэт, а кто нет? Как это определить?

– Все это субъективно. Ведь существует тонкая и невидимая грань, по одну сторону которой поэзия, а по другую – ее подобие. Если по большому счету, то я боюсь причислить себя к поэтам (хотя хочется верить, что это так). Если же я действительно поэт, то, пожалуй, довольно средний. Ну уж какой есть. Выше головы не прыгнешь. Вообще-то по неуловимым признакам можно отличить поэта от графомана, настоящую поэзию от умелого версификаторства – труднее. Критерии, конечно, есть, но пользоваться ими сложно. Внешние признаки поэзии еще не все, чтобы окончательно определиться и дать оценку автору. Нужно еще и чувствовать нутром.

«Входи, деревня, поименно в мои сыновние стихи...».

– Как родилась «Деревенька»? Как стала песней? Вспомни истории, связанные в «Деревенькой».

– Как родилась «Деревенька»? Понимаешь, меня всегда тянуло домой, то есть на родину. Но в молодые годы далеко не каждый год удавалось провести свой отпуск в деревне. Это уже позже, став постарше и пока жива была мама, я старался навещать ее ежегодно. Так вот, зимой 1971 года я так затосковал по родине, что спасу нет. Чтобы облегчить душу, в один присест, примерно за час, написал стихи «Деревня моя деревянная». А потом и еще большой цикл стихов об этом, в том числе и с такими «программными» строчками:

*... Не франтоваты, не парадны,
Походки ваши не легки, –
Вы угловаты и нескладны,
Мои родные земляки.
Иваны, Марьи и Семены
Ждут свой черед, светло тихи.
Входи, деревня, поименно
В мои сыновние стихи...*

Впоследствии этот цикл составил основу моего первого сборника стихов «Деревня моя деревянная», вышедшего в 1973 году.

Как раз в ту пору началась повальная кампания по уничтожению так называемых «неперспективных» деревень. И мои стихи были как раз стихийным, неосознанным протестом против этого варварства. Кстати, под этот нож чуть не попала и моя любимая деревня Ядрышниково. Ее спасло чудо – появление песни «Деревенька моя». История ее возникновения любопытная. Сначала стихи «Деревня моя деревянная» были опубликованы в областной газете «Целиноградская правда», потом я их отправил в одну из новосибирских газет. Там-то, видимо, они и попали на глаза композитору Николаю Кудрину, он искал слова, чтобы написать песню о деревне. Мои стихи пришлись ему по душе, он и создал песню «Деревенька моя»,

взяв из стихов только три, наиболее подходящих, «поющих» строфы. Естественно, об этом я не знал и не ведал. Как потом выяснилось, первым исполнителем «Деревеньки» был самодеятельный ансамбль «Ваталинка», которым руководил Н. Кудрин. Ансамбль пел ее в Кремлевском Дворце съездов на заключительном концерте Всероссийского фестиваля народной песни. Потом ее стал исполнять Сибирский народный хор, а солисткой была заслуженная артистка России Галина Меркулова (с ней я был раньше знаком и даже немного влюблен в нее). Кстати, несколько лет спустя Сибирский народный хор приезжал к нам в Целиноград, и эта песня звучала в моем присутствии на концерте во Дворце Целинников. Не скрою, мне было приятно, когда объявили, что автор стихов находится в зале. Пришлось встать... Но это было потом...

В 1973 году «Деревенька моя» зазвучала по Всесоюзному радио в исполнении заслуженной артистки России Нины Пантелеевой и вокального квартета «Улыбка». Тогда-то я впервые услышал эту песню. Правда, автором слов значился И. Гундарев. Осенью того же года я был на лечении в Алуште, увидел афиши, что выступает Нина Пантелеева, пошел на концерт. Вовсе не думал, что для изысканной курортной публики она будет петь «Деревеньку». А она спела... В антракте я набрался смелости и пошел за кулисы, чтобы познакомиться с певицей. Встрече Нина Пантелеева обрадовалась (мы потом долго с ней переписывались), порывисто меня обняла: «А мы с Николаем Кудриным найти вас не можем... Вы знаете, Володенька, какой это замечательный шлягер!». Она дала мне адрес композитора, пообещала, вернувшись в Москву, прийти на радио и исправить ошибку в моих инициалах (слово она сдержала). Я написал в Новосибирск Николаю Михайловичу, так мы с Кудриным заочно познакомились. Даже написали еще одну песню – о Сибири, но она такого звучания, как «Деревенька», не получила.

К сожалению, с Николаем Михайловичем встретиться нам так и не удалось, а несколько лет назад композитор Кудрин, ставший народным артистом России, умер...

«Деревенька моя» стала звучать и на Центральном телевидении – в исполнении народной артистки России Ольги Воронец, да и вообще – к моей неожиданности – стала в народе очень популярной, в том числе и в застольях, чуть ли не наравне с «Шумел камыш».

Удивительно, но эта песня живет и сейчас, вот уже 30 лет.

Между прочим, Ольга Воронец, однажды зимой, уже в восьмидесятые годы, была с концертами в моем родном Кыштовском районе. Там ее на руках носили. Мне об этом написала бывшая учительница Раиса Павловна Рассказова. А тут сразу же у меня выпала командировка в Москву. Уже в последний день перед отъездом в Целиноград я пересилил свою застенчивость и позвонил Ольге Воронец (номер телефона у меня был), представился, услышал ее восторженный, но простуженный голос: «Вы знаете, как меня приняли на вашей родине! Хотя морозы были под сорок градусов, но мне было так тепло! На одном из концертов была ваша младшая сестра, мне ее показали. Познакомилась я и с вашей учительницей. Правда, маму вашу не видела, до ее деревни мы не смогли доехать. Но когда я увидела эту природу, то поняла, что стихи о деревеньке могли родиться только здесь... И все же я в Сибири простыла, только вернулась оттуда, сейчас сильно гриппую. Через день-два я буду готова пригласить вас, Володя, в гости». Я поблагодарил Ольгу Борисовну и сказал, что, к сожалению, ночью улетаю. Встретимся в следующий раз... Но так и не получилось.

«Деревеньку» я слышал многократно в прекрасном исполнении и замечательных солистов, и разных коллективов. Но особенно был растроган, когда приехал в родительский дом,

вечером мама собрала гостей-односельчан, а потом они после рюмки-другой вдруг переглянулись и запели «Деревеньку». И столько в их непоставленных голосах было искренности, задушевности, что на моих глазах выступили слезы. Испытать такое – счастье. Это высшая награда для автора от земляков. Это моими словами они выражали свою любовь к родной стороне.

– Правда ли, что ты живешь на доходы от своей «Деревеньки»?

– Да, еще в семидесятые годы мои московские друзья пустили шутку: «Гундарев – последний русский помещик. Он до сих пор живет на доходы от своей «Деревеньки». Действительно, если бы в те годы собрать все отчисления, которые я получал за исполнение песни через Всесоюзное агентство охраны авторских прав, в том числе и за рубежом, то на эту «ренту» вполне можно было купить «Жигули». Я же эти гонорары, разумеется, растранижил – не скопидом, не в деда-мельника пошел. Правда, потом, по причине раздела Советского Союза гонорары за «Деревеньку» иссякли, но недавно в сфере оплаты за «труды праведные» произошли изменения, и я получил из России за исполнение «Деревеньки» еще тысячу рублей. Однако «последним русским помещиком» меня уже не назовешь – появились новые помещики. Я им в подметки не гожусь.

«Все, что могу, я на себя беру!».

– Есть ли у читателя Гундарева любимые строки поэта Гундарева?

– Ну и вопросы у тебя, Юрий Дмитриевич... Стихи и книги – это те же дети. Не мною это сказано, но я совершенно с этим согласен. И все они одинаково дороги, даже неудачные. Ведь каждая строчка выстрадана, прошла через сердце. Конечно, со временем к каким-то стихам охладеваешь, но ни от чего из написанного я не отказываюсь. В них вся моя жизнь. Совершенства в стихах, пожалуй добиться не удалось, к тому

же оценивать собственные стихи неизмеримо трудно, восторгаться ими я не могу, но и в обиду их не дам. Назвать любимые стихи – не знаю, не получится, но главные, важные – есть. Хотя бы вот эти:

*Когда легко мне что-то удается
И чувствую, что двигаюсь вперед,
То в спину мне язвительно несется:
«Он слишком много на себя берет!».*
*Когда же, пересилив злые беды,
Я становлюсь сильнее, наоборот, –
Злословят с толку сбитые соседи:
«Он слишком много на себя берет».*
*Когда я ошибаюсь, не безгрешен,
Советчиков не ставя ни во грош, –
«Друзья» такое выскажут при встрече:
«Ты слишком много на себя берешь.
Чтоб шею не свернуть,
ты помни меру,
Не зарывайся, мы к тебе с добром.
Живи спокойно,
Вот как мы, к примеру,
Мы лишнего на плечи не берем».*
*Да, я живу, делами перегружен.
Пусть у меня не та, как прежде, стать,
Но если я еще кому-то нужен,
Я на себя не стану меньше брать.
Вновь перед собою ставлю «сверхзадачу».
Пусть говорят:
«Не приведет к добру»,
Но если я еще хоть что-то значу, –
Все, что могу,
я на себя беру!*

Возможно, стихи не очень удачны, но в них мое кредо.

– *Кто твои поэтические учителя и любимые поэты?*

– На этот вопрос можно отвечать бесконечно. Если же ответ сформировать кратко, то моим коллективным поэтическим учителем стала русская классика. Что касается любимых поэтов, то их тоже немало. Стоит открыть любую книгу в моей домашней библиотеке, и в сборнике даже не очень знаменитого поэта, а то и вовсе малоизвестного, можно найти прекрасные классические строки, которыми можно восторгаться. Ведь в историю поэзии можно войти и одним стихотворением, даже одной строчкой. В детстве и юности я очень любил Есенина и Маяковского (и сейчас люблю), Пушкина, естественно, тоже почитал, но всю глубину его гения постиг значительно позже, с возрастом. Надо самому иметь отношение к творчеству, чтобы понять и оценить все величие Пушкина, «поэта на все времена». Я часто обращаюсь к его творениям. Недавно снова перечитал его десятитомник. Пушкин велик в каждой строчке, в том числе в исторических исследованиях, публицистике, письмах... Не представляю русскую поэзию без Лермонтова, Тютчева, Баратынского, Некрасова, Блока... Любимы мною А. Твардовский, П. Васильев, Н. Рубцов, Ю. Кузнецов, В. Соколов, Н. Тряпкин, В. Федоров... Можно ограничиться этим? А то еще придется назвать не менее трех-четыре десятков фамилий.

«Но вспоминай и про свою тетрадь...».

– *Как ты оказался в Казахстане, чем здесь занимался?*

– Как я оказался в Казахстане... Судьба... В сентябре 1960 года, в шестнадцать лет, я уехал из Кыштовки в Кемерово, к дяде Александру, брату отца. Так сложились жизненные обстоятельства, что немного запутался. А тут еще и несчастная любовь... Добрые люди помогли получить паспорт, я вырвался из колхозного «крепостного» права. В общем, уехал. В Кемерово пришел на студию телевидения, сначала сотрудничал внештат-

но, видно, показал себя, меня взяли в штат младшим редактором «последних известий». Писал тексты к телесюжетам, даже очерки делал. Параллельно учился в вечерней школе. Был активным комсомольцем. Тогда много говорилось о целине. В марте 1961 года Акмолинск был переименован в Целиноград, тема целины зазвучала с новой силой, и я решил поехать в Казахстан. Написал письмо в Целинный крайком комсомола, но, не дожидаясь ответа, махнул в Целиноград, наивно считая, что там без меня не обойдутся. Короче говоря, в конце мая я уже был в Целинограде (мне не было еще семнадцати). Много всякого пережил-перенес. Но опять мне повезло на добрых людей. С газетой «Молодой целинник» не получилось. И я появился на Целинном краевом радио. Несколько месяцев был внештатным корреспондентом, жил только на гонораре, а 1 сентября меня зачислили в штат.

Моим наставником и учителем стал Моисей Михайлович Гольдберг, он что-то увидел во мне, поддержал. Я многим ему обязан. Мы дружим все эти годы, до нынешней поры. В марте 1963 года я стал членом Союза журналистов СССР — одним из самых молодых в стране, ибо у меня уже был необходимый профессиональный стаж. Получилось так, что это я без Целинограда не смог обойтись.

Осенью того же года меня призвали в ряды Советской Армии. Служил три года в Бакинском округе ПВО. Часто публиковался в окружной газете «На страже», в других газетах и даже в журналах. Два армейских года был инструктором политотдела по комсомольской работе. После службы мне предложили три варианта: поступать во Львовское высшее военно-политическое училище; идти работать в штате окружной газеты; остаться на сверхсрочную службу в вышестоящем политотделе. Но я вернулся в Целиноград, где меня ждали, и стал работать на областном радио редактором молодежной радиостанции «Товарищ». Здесь поэтическим творчеством я стал заниматься уже целеу-

стремленно. И в ноябре 1970 года меня пригласили на работу литературным консультантом Целиноградского межобластного отделения Союза писателей Казахстана. Целых двадцать лет я учился сам и учил других. Это были плодотворные годы. Я написал и выпустил полтора десятка поэтических сборников и художественно-документальных книг. А заметил меня и перетащил к себе тогдашний ответсекретарь отделения Союза писателей, поэт и прозаик Нургожа Уразов, за что я признателен ему. В 1978 году меня приняли в ряды Союза писателей СССР — в 34 года, что по тем временам тоже было редкостью.

Правда, о периоде литконсультантства у меня есть грустные стихи:

*Ты рукописи должен разбирать:
Оценивать стихи,
вникать в рассказы
И радоваться каждой
яркой фразе, —
Но вспоминай
и про свою тетрадь.
А там листы пугающе чисты, —
Как осенью пусты
Поля и чащи, —
Тебе сюда б заглядывать почаще,
Но беззаботен почему-то ты...
А заканчивается стихотворение так:
А спохватился:
цель-то далека.
Намереньями
долго жил благими.
И ускользает от тебя строка,
Твои стихи —
Написаны другими.*

Хотя, если честно, эти упреки справедливее отнести не к тому времени, а к периоду работы в «Ниве».

– *Можно ли считать «Ниву» главным делом твоей жизни?*

– Как бы там ни было, – несмотря на это откровенное признание, – я действительно считаю «Ниву» главным делом своей жизни. Ты знаешь, я не мистик, но склонен считать, что был голос свыше. А репродуктором, передатчиком этого повеления стал писатель Алексей Борисович Дебольский, который в августе 1990 года предложил мне взяться за издание регионального литературно-художественного журнала – на северные и центральные области Казахстана. Уверял, что у меня получится. Я и взялся... 17 апреля 2002 года исполнилось 11 лет со дня выхода первого номера «Нивы». Вот уже второй год журнал выходит ежемесячно. Он стал не только всеказахстанским, «Ниву» хорошо знают и за пределами республики, прежде всего, в России... Да, журнал – главное дело моей жизни. Мне кажется так. Я этим живу. Журнал и любовь – для меня все.

– *Главные достижения журнала за все годы его существования?*

– О главных достижениях журнала за эти годы мне трудно судить. Я пристрастен, мне дорого в «Ниве» все. Думаю, что ты, как многолетний автор и член редсовета журнала, можешь сделать это лучше меня и объективнее.

– *Какая «Нива» тебе больше по душе – старая или новая?*

– Конечно, прежнюю «Ниву» не сравнить с нынешней. Я тогда отдавал ей всего себя без остатка, отдаю и сейчас. Прежде она доставляла мне очень много хлопот и огорчений, на каждый номер приходилось выколачивать деньги, идти на поклон. Ты это не хуже меня знаешь, сам помогал мне в поиске средств. Правда, тогда я был бедным, беззащитным, но полновластным хозяином журнала. Сейчас ситуация несколько иная. Мне надо

считаться с мнением учредителя и издателя «Нивы» – ОАО «Республиканская газета «Казахстанская правда», зато нет финансовых проблем. Главное – «Казправда» спасла журнал, когда он фактически находился на грани закрытия. Благодаря этому «Нива» не только сохранилась, но и возродилась, обрела новое лицо. Так что спасибо Анатолию Гурскому и Валерию Михайлову, они взяли «Ниву», может быть, ради меня, а еще и учитывая нужность этого журнала.

Что же касается моих амбиций и честолюбия – то это мне, полагаю, не присуще. Собственную линию в журнале я выдерживаю. В целом мне доверяют. Остальное можно пережить.

– Можно ли считать годы руководства «Нивой» вычеркнутыми из жизни поэта Гундарева? Не писалось или руки не доходили?

– Я просто не представляю, чем бы я занимался, если бы у меня не было «Нивы». Ведь поэзия, литературное творчество в целом всегда были своеобразным приложением к моей обычной жизни и деятельности, хотя и занимали в судьбе видное место. Я же не был поэтом в чистом виде, жил не только литературным трудом. И кто меня сегодня знает как поэта?

В общем, я не могу считать годы руководства «Нивой» вычеркнутыми из жизни поэта Гундарева. Да, в эти годы я стихов писал меньше, чем прежде. Но ведь и возраст подошел, когда «лета к суровой прозе клонят». Не то что не писалось, просто времени не было. И потом: есть изречение, что хороший поэт в год должен писать не больше 10-12 стихов. Это меня утешало. Раньше я писал значительно больше. Потом стал писать меньше 10-12 в год, всего несколько. Следовательно, я – хороший поэт (шучу). К тому же всплески вдохновения у меня бывали и в минувшие годы. Приходит озарение и сейчас. К тому же я занимался документальной прозой, кроме того, переводил с казахского прозу – повести и рассказы. И потом – разве плохо,

если поэт руководит журналом, именно литературным журналом, отдавая ему свои знания, опыт, умение, мастерство? О чем еще мечтать в наше время? Слава Богу, что у меня получилось именно так. В молодости мне помогали, теперь я должен помогать другим.

**«И хочется до сладких слез любить,
Чтоб целый мир обрадовать любовью».**

– *Какую пору (периоды) своей жизни считаешь лучшими и почему?*

– Прошедшую жизнь я не делю на периоды. Они все взаимосвязаны, один перетекает в последующий. И все прожитое является для меня единым, цельным лучшим периодом, надо ценить то, что было, поскольку впереди у меня практически ничего не осталось, а будущее для меня – это, извини, могила, смерть. А произойти это может в любой момент. «Любовь и смерть приходят навсегда» – есть у меня такая строчка...

– *Самые грустные события твоей жизни...*

– Самые грустные события моей жизни... Это, конечно, смерть отца и матери, близких, друзей. Я уже очень многих дорогих мне людей потерял. Невольно вспоминается чья-то строчка: «Наша жизнь – это музей, где висят портреты друзей»... Но довольно о печальном.

– *Самые радостные...*

– Радостных событий тоже было много в моей жизни. Это любовь. Рождение детей и внуков. Что касается творчества, то это первые опубликованные стихи, первая книга... Первый номер журнала «Нива». Достаточно?

– *В чем, по-твоему, смысл жизни?*

– В поисках ответа на вопрос «В чем смысл жизни» человечество бьется не одно тысячелетие. Лучшие умы теряются в догадках. Если ответить примитивно, то смысл жизни в самой жизни, надо просто жить, радоваться каждому мгновению, но

при этом не быть растением, а стремиться к чему-то важному, недостижимому, идеальному, делать добро другим людям, даже зная, что добро, как правило, наказуемо. Да, вспомнились собственные две строчки: «И хочется до сладких слез любить, чтоб целый мир обрадовать любовью». Даже в этом.

– *Твое представление о счастье?*

– У каждого своя формула счастья. Помнишь, в одном старом фильме прозвучала из уст подростка очень глубокая фраза: «Счастье – это когда тебя понимают». В этом особый смысл. Для меня счастье – заниматься любимым делом, любить самому и быть любимым. Все это у меня есть. Так что я человек счастливый.

– *Расскажи о семье, детях и внуках.*

– Так, семья... Я дважды был женат. Дочь от первого брака – Ирина – родилась в сентябре 1963 года, окончила Ленинградский политехнический институт, инженер-механик, живет в Питере. Занимается художественной фотографией. Ее сыну – моему первому внуку – Андрею 13 лет.

Вторая жена – Раиса, по профессии инженер-строитель. У нас с ней дочь Ассоль, 1968 года рождения, кандидат медицинских наук. У нее двое детей. Роману – 12 лет, Виталине – 3 года. Добавлю, я всегда был плохим мужем и плохим отцом.

– *Давай не будем заниматься самобичеванием, лучше пойдем дальше. Близкие люди знают, что ты вспыльчив. Всегда был таким или жизнь испортила? Сильно ли мешает тебе это в жизни?*

– Ты не можешь без каверзных вопросов... Отвечу как на духу. Да, по натуре я эмоциональный, импульсивный. Вспыльчивый, это верно. Пожалуй, всегда был таким. Могу легко взорваться, но отходчив и незлопамятен. Правда, после инфаркта я изменился, стал сдерживать свои эмоции, контролировать себя, относиться ко всему философски. Теперь мне это удастся, хотя изредка все же

срываюсь. Но не на работе. Я и в самом деле стал другим, более сдержанным и выдержанным. «Учитесь властвовать собой» – пожелание мудрых. Следовать ему трудно, но возможно.

– Не была ли ошибкой идея создания газеты «Столичный проспект»? Все равно ведь никому ничего не доказал, а сколько сил и здоровья потерял...

– На создание газеты «Столичный проспект» я был вынужден пойти, чтобы сохранить «Ниву», поскольку уже тогда, в 1994 году, оказался в тисках серьезных финансовых проблем. Когда мне предложили взяться за выпуск газеты, я поставил условие: если основной учредитель возьмет на себя и материальные заботы по журналу, на что получил согласие. Хотя на практике трудности с финансированием и газеты, и журнала продолжались, из-за чего летом 1998 года «Столичный проспект» пришлось закрыть. Но газета за четыре года свою роль сыграла – она была острой, принципиальной, многие люди обращались в «Столичный проспект» как в последнюю инстанцию. А это очень важно.

Я никому ничего не собирался доказывать, хотя действительно истратил много сил и здоровья. Но через газету я проводил и отстаивал собственную гражданскую позицию, свое видение актуальных проблем. Только в «Столичном проспекте» я мог опубликовать то, что считал необходимым, существенным. Хотя это мне и выходило боком. Зато голос мой был услышан.

– Кто твои друзья и почему?

– Много друзей не бывает... В дружбе мне повезло. Правда, мне всегда казалось, что друзья мне давали и делали для меня больше, чем я для них. Но тут уж ничего не поделаешь. Мой самый давний друг, так сказать, закадычный – это известный ныне тележурналист Дукеш Баимбетов. Мы с ним познакомились еще в юности, в 1961 году, когда он работал диктором радио. И вот дружим уже свыше сорока лет. Это настоящая

дружба, крепкая, выдержавшая все испытания. За эти годы у нас была всего одна размолвка. В молодые лета. Два больших друга у меня на родине – Михаил Рассказов и Леонид Гяммер. В начале семидесятых стал моим другом авиатор Николай Федоров (ныне он живет в Крыму, но ежегодно приезжает сюда). О нем у меня есть стихи «Восходящие потоки».

К прискорбию, некоторые мои друзья уже ушли в мир иной. Это журналисты Владимир Дроздов, Виталий Криницкий, Геннадий Терец, Борис Гавриленко.

Из оставшихся надежных друзей могу назвать и поэта Владимира Шестерикова, и тебя, Юрий Дмитриевич. Еще мои друзья – журналисты Людмила Леева и Лариса Черезова. Это основной дружеский круг. Есть и много добрых приятелей.

А почему – сказать не могу. Не анализировал. Мне по душе крылатая фраза Михаила Светлова: «Дружба – понятие круглосуточное». Этому стремлюсь следовать.

**«Мне одинаково нужны
Сибирские леса и рощи,
И даль ишимской стороны...».**

– В твоих стихах с одинаковой пронзительной силой звучат как российские, так и казахстанские мотивы... Гундарев – русский поэт в Казахстане или казахстанский в России? Где теперь твоя родина?

– Сложный вопрос... И ответить на него не так-то просто. Казахстан для меня стал второй родиной. Но и без первой, подлинной, я не могу. Впрочем, об этом я написал в 1994 году:

*Могло ль в кошмарном сне присниться,
Что стало горькой явью дня:
Теперь Россия – заграница
Для россиянина меня.
«Да что же приключилось с сыном, –
Понять моя не может мать, –*

Что иностранным гражданином
Ему втемяшилось вдруг стать?
Ведь не в Америку уехал —
А в том краю, что сердцу мил.
Неужто кто-то ради смеха
Такое людям учинил?»
Нет, не постигнет разум здравый
Враз изменившийся уклад. —
Ведь суверенные державы
Не ставят гражданам преград.
А что у нас? — Единым махом
Воздвигнут был водораздел.
Теперь для омского казаха
И Казахстан — иной предел.
Теперь из каждого аула
Иль отдаленного села
Добраться легче до Стамбула,
Чем до Кургана иль Орла.
Ну разве было неизбежным
Вполне обычное сейчас:
Все то, что в ближнем зарубежье, —
Подальше дальнего для нас?
А если вдруг проехать сможем
Отсель в какой-нибудь Сургут,
То рэкетеры из таможен
Нас, будто липку, обдерут.
Так вышло: я родился русским.
И, значит, мне вменить в вину,
Что вел страну имперским курсом,
Осваивая целину,
(Пусть под Вологдой и Курском
Деревни многие ко дну)?

*Гораздо все сложнее и... проще:
Мне одинаково нужны
Сибирские леса и рощи,
И даль ишимской стороны.
И это – в сердце, в этом – счастье,
Навеки соединено,
Не разделить его на части, –
Ведь сердце у меня одно.*

Такой ответ тебя устраивает? И вообще – я не та фигура, чтобы гадать: русский ли я поэт в Казахстане или казахстанский в России.

– Как ты оцениваешь современный литературный процесс в Казахстане? Что радует в нем и что огорчает?

– Что касается современного литературного процесса в Казахстане, то я могу в какой-то степени судить лишь о русской литературе. И ничего утешительного сказать не могу. Во-первых, государству сегодня литература не нужна. Фактически это вещь в себе. Существует – хорошо. Нет ее – тоже ладно. Для русской литературы есть Россия. И каждый русскоязычный поэт и прозаик варится в собственном соку. Издательское дело преимущественно стало частным. Из русских писателей остались те, что были раньше. Изредка они издаются. Мощного свежего притока нет. Об этом можно судить по «Ниве» и «Простору». (Кстати, «Простор» мне очень дорог, ведь в этом журнале я часто публиковался в прежние годы. Трудности, выпавшие на долю «Простора», я тоже принимаю близко к сердцу. Наши журналы не конкуренты, а собратья). Хотя изредка талантливые имена возникают. Правда, появилась возможность издавать книги за собственный счет или находить богатого спонсора. Талантливому поэту или прозаику в этом не везет. В основном хлынул серый и мутный графоманский поток. В большинстве своем никакого отноше-

ния к истинной литературе эти книги не имеют. Очень редко в «навозной куче» макулатуры появляются жемчужины. Хорошо, что они есть. Но этого мало для того, чтобы говорить об успешном развитии русской литературы в Казахстане. Об этом ты знаешь не хуже меня.

– *Через твои руки проходит огромное количество графоманского творчества. Как ты со всем этим справляешься, не возникает ли отвращение к печатному слову?*

– Конечно, раньше через мои руки проходило огромное количество графоманских изделий. Сейчас меньше, потому что эту обузу берут на себя в основном сотрудники журнала.

Редакция – своеобразная веялка. В одну сторону летит полова, мякина, шелуха, в другую – чистые зерна. А отвращения к печатному слову нет. Я сочувствую каждому пишущему. В том числе и графоманам. Ведь они не виноваты в том, что природа обделила их талантом... Отвращение у меня к непечатному слову.

– *«Поэт в России больше, чем поэт», – сказал когда-то Евтушенко. А кто сегодня поэт в Казахстане?*

– Я думаю, что формула Евтушенко была справедливой и верной для того времени, для советского периода. Нынче ситуация совершенно иная. Теперь и в России поэт меньше, чем поэт. То же самое и у нас в Казахстане.

Кто у нас в республике... Не буду касаться казахских собратьев по перу... Да все те же поэты, что и были: Валерий Михайлов, Юрий Грунин, Любовь Шашкова, Надежда Чернова, Валерий Антонов, Бахытжан Канапьянов, Владимир Шестериков, Виктор Семерьянов, Ольга Григорьева, Ольга Шиленко, Сагин-Гирей... Еще с десятков фамилий можно перечислить. К сожалению, поэтическое слово ныне девальвировалось. Будем надеяться, что появятся новые яркие имена на литературном небосклоне.

* * *

Когда я читал его рукопись, она еще хранила терпкий, резкий аромат табака... И мне легко было представить самого бородатого Гундарева в темных очках, внешне невозмутимого, ироничного, аппетитно посасывающего свою любимую трубку.

Наверное, я бы мог что-то добавить к сказанному им и от себя. Например, то, что он трудоголик, что у него поразительное чутье на талантливых людей, благодаря чему очень многие из них смогли публично заявить о себе со страниц «Нивы». Я бы мог припомнить о его привычках и некоторых чудачествах... Но я не буду этого делать: Владимир Романович исчерпывающе ответил на мои многочисленные вопросы, за что я ему благодарен.

Гундарев мог бы считать свою судьбу вполне удавшейся, даже если бы в ней «случилась» одна единственная «Деревенька», ставшая народной. А он еще создал журнал, без которого нельзя представить сегодняшний литературный процесс в Казахстане. Чего все это стоило – знает только он сам.

Журнал забирал все его силы. Лишь в прошлом году он опубликовал в «Ниве» (второй за десять лет) подборку своих стихов. Там было и такое четверостишие, которое можно считать жизненным кредо Гундарева:

*За счастье, за удачу,
За все, что по плечу, –
Сполна плачу и плачу,
Плачу и плачу.*

Я от души желаю Владимиру Романовичу и его любимому детищу долгих лет жизни. А в том, что они будут плодотворными, я нисколько не сомневаюсь.

2002 год

Письмо в XXI век

Нашли!

В Железинке нас ждали. Директор здешней профессионально-технической школы Сергей Иванович Квак, поздоровавшись, деловито осведомился:

- Четырëх лопат и двух ломов будет достаточно?
- Вполне, – отвечали мы, – понадобится ещё и кувалда.

Похоже, он удивился, хотя вида не показал.

- Будет кувалда.

... Сразу после обеда все были в сборе: старшеклассники двух железинских школ – первой средней и профессионально-технической – главная рабочая сила; их директора С.И. Квак и В.П. Горобец; председатель районного совета ветеранов К.Б. Битенов; заместитель акима района И.Ш. Шайдуллин; педагог, бывший второй секретарь райкома комсомола С.Г. Смышляева (по мужу Сикорская), бывшие комсомольские активисты А.М. Баянбаев и А.Ш. Смагулов. Пришли и другие железинцы, прослышавшие о том, что будет происходить.

– Копать надо вот здесь, – уверенно сказал К.Б. Битенов, подойдя к одному из четырёх углов основания бывшего памятника Ленину. Возражающих не нашлось – точное место не помнил больше никто – и Алексей Павлович Звягин (бывший первый секретарь железинского райкома комсомола) решительно взялся за лом – предстояло сначала поднять асфальт.

Потом дружно копали школьники, меняя друг друга. Скоро наткнулись на бетонный монолит. Значит, всё правильно – там ищем! И сразу энергии как будто прибавилось. Правда, тут же возникло некоторое замешательство: прибежавший откуда-то из соседних домов пенсионер стал допытываться по какому праву сносят памятник.

– Успокойся, отец, памятник когда ещё снесли; тут совсем другое, – увещевали его. Вникнув в суть, пенсионер стал рьяно помогать – советами и делом.

Наконец, не без труда, выкатили на поверхность земли бетонную глыбу – наверное, с центнер весом – и с азартом, по очереди, принялись лупить по ней кувалдой. Расколов, убедились, что внутри ничего нет.

– Всё правильно, – объяснил К.Б. Битенов, – мы тогда сначала сделали подкоп, поставили туда шкатулку, а сверху залили бетоном. Надо копать дальше.

И вскоре шкатулка, обтянутая чем-то красным, под крики «ура» была извлечена на свет божий. Её с предосторожностями открыли, внутри и оказалось искомое – металлический цилиндр из двух резьбовых навинчивающихся друг на друга половинок. Пытались сразу и развинтить, но безуспешно. Бывший молодой бригадир животноводства комсомолец совхоза «Железинский» А.А. Сикорский отправился за помощью в ближайшую котельную...

Ещё несколько минут томительного ожидания, и Алексей Павлович Звягин, развинтив половинки, демонстрирует всем свёрнутые рулоном листки бумаги.

– Читайте, читайте! – слышатся голоса.

Но это невозможно. Пролежав 32 года в земле, бумага сохранилась, но частично испорчена попавшей внутрь цилиндра влагой. И полностью текст прочесть нельзя. Над ним должны поработать архивисты. Договариваемся обнародовать его позднее, через газету.

А.П. Звягин благодарит всех. Расходимся, убрав следы раскопок, слегка разочарованные, но всё же с чувством выполненного долга.

Но что же мы так упорно искали в Железинке?

Я помню, хотя и не очень отчётливо, тот октябрьский день 1968 года. Меня только что избрали комсоргом Берёзов-

ской средней школы и в этом качестве пригласили на расширенный пленум Железинского райкома комсомола, посвященный 50-летию ВЛКСМ. На нём и родилась идея отправить наш комсомольский привет комсомольцам, юношам и девушкам 2018 года. Почему именно 2018? Потому, что в этом году комсомолу должно было исполниться сто лет.

Мы, участники торжественного пленума, пришли к памятнику Ленину. Был зачитан текст, затем его упаковали в специально изготовленную металлическую капсулу из нержавеющей металла, положили в шкатулку, которую и зарыли у основания памятника.

Признаюсь честно: я не помнил, о чём говорилось в послании. Но я точно помнил, что чрезвычайно горд был одним обстоятельством: в письме к сверстникам-потомкам в числе других были названы и трое моих земляков-комсомольцев: шофёр Николай Горбанёв и механизаторы Николай Устиненко и Николай Шаробоков. С двумя последними я учился в одной школе, правда, классом или двумя после них...

Время от времени я вспоминал об этом послании, правда, как-то отстранённо, думая про себя: интересно, догадается ли кто-нибудь когда-нибудь достать его? Ведь можно сказать и так: после того, что произошло с нами в последнее десятилетие, это письмо вполне можно считать адресованным в никуда... и никому...

И последнее. Может быть, хорошо, что мы поторопились и «подняли» послание молодёжи 1968 года молодёжи 2018 года именно теперь, в 2000 году? (Кстати, одним из инициаторов этой акции был О.К. Кожанов, работавший в 1968 году заместителем начальника Железинского райсельхозуправления и присутствовавший при закладке капсулы). Кто знает, вспомнил бы хоть кто-то о нём в 2018? И что бы от него осталось к тому времени, если и теперь половина текста испорчена... Поэто-

му можно сказать, что капсулу извлекли вовремя, и молодёжь 2018 года с гарантией сможет ознакомиться с письмом к ней. Если, конечно, захочет...

Послание

Полностью письмо прочесть нельзя. Поэтому придётся обойтись фрагментами, а кое-где и пересказом текста.

Итак, что же пишут комсомольцы 1968-го своим сверстникам (и, надо полагать, союзникам) в 2018 год?

«Комсомольцам, юношам и девушкам 2018 года.

С. Железинка, октябрь 1968 года.

Мы, участники торжественного юбилейного пленума райкома комсомола, в канун 50-летия ВЛКСМ обращается к Вам, встречающим столетие со дня основания Всесоюзного Ленинского Коммунистического Союза Молодёжи со словами приветствия по случаю... знаменательной даты.

Мы живём в эпоху великих социальных, политических свершений... Великий Октябрь, пятидесятилетие которого мы отмечали в 1967 году, открыл столбовую дорогу всем народам земного шара к грядущему миру и счастью. Треть населения земного шара в настоящее время уже вышла на эту дорогу. Территория стран социалистического лагеря составляет 1/6 всей земли. Мировая социалистическая система стала определяющим фактором современности, оказывающим решающее влияние на ход мирового исторического развития. Наша Советская страна выступает за нераспространение ядерного оружия, всем своим экономическим, политическим и военным могуществом оказывает поддержку международному рабочему и коммунистическому движению, сплачивает вокруг себя социалистические и антиимпериалистические силы, оказывает всемерную поддержку национально-освободительному движению...

Высокий международный авторитет нашей страны как никогда подкреплён состоянием высокоразвитой экономики...

Материальное благосостояние советских людей улучшается из года в год...

На повестку дня поставлен вопрос о всеобщем среднем образовании.

Вся страна в настоящее время работает над выполнением третьей программы КПСС, которая предусматривает создание материально-технической базы коммунизма.

Наши успехи были бы ещё больше, если бы не происки империализма. Империализм не уступает добровольно... стремится всеми способами – военными, политическими – изменить соотношение сил в свою пользу. Об этом говорят недавние события в Чехословакии (1968 год – Ю.П.), где контрреволюционные силы, направляемые извне, пытались столкнуть Чехословакию с пути социализма, однако эта попытка провалилась.

Вот уже двадцать лет льётся кровь вьетнамского народа. Американские империалисты пытаются поработить свободолюбивый Вьетнам, прибрать к своим рукам его богатства. Но мы твердо уверены, что этому не бывать. Поручкой тому – помощь СССР и стран соцлагеря, поддержка со стороны всех свободолюбивых сил.

Многострадальная Индонезия переживает экономический кризис. Военная диктатура, пришедшая к власти в 1965 году, продолжает творить расправу над всеми патриотами, трехмиллионная компартия практически разгромлена. В страну открыт широкий доступ иностранному капиталу. (Недавно эта страна вновь перенесла жестокие потрясения – история, оказывается, очень часто никого и ничему не учит – Ю.П.)

Неспокойно и в Европе. ФРГ домогается доступа к ядерному оружию. Германские ревизионисты открыто требуют пе-

рекройки границ, сложившихся в результате второй мировой войны.

Мы, комсомольцы 60-х годов, понимаем всю сложность международной обстановки, и поэтому трудимся и будем трудиться... на благо нашей любимой Родины, для укрепления её обороноспособности, бороться за мир, за социальный прогресс.

Основное содержание всей нашей работы – воспитание молодежи на славных боевых и трудовых традициях Коммунистической партии и советского народа. Мы постоянно работаем по организации социалистического соревнования среди молодежи. В районе работают четыре комсомольско-молодежные бригады, многие комсомольцы являются передовиками...». Далее в письме называются передовики (о них чуть позже), рассказывается о политической учёбе комсомольцев, называются клубы и кружки, которые помогают «воспитывать идейно-закалённых, высокообразованных строителей коммунизма».

В письме уделено место военно-патриотическому воспитанию, развитию физкультуры и спорта («Хорошо поставлена спортивно-массовая работа в совхозах «Железинский», «Приртышский», «Память Кирова»).

«Большое внимание мы уделяем эстетическому воспитанию молодёжи, организации её быта и отдыха. В кружках художественной самодеятельности занимаются около полутора тысяч юношей и девушек, регулярно проводим смотры...».

Далее – о вовлечении тех, кто не имеет образования, в вечерние школы, о добровольных народных дружинах, об охране природы («В честь 50-летия ВЛКСМ участниками пленума заложен парк»).

«Обращаемся к вам, комсомольцы и молодёжь 2018 года, будьте верными продолжателями дела Ленина и Коммунисти-

ческой партии, Ленинского комсомола. Берегите нашу Родину, как берегли её наши отцы и деды... Трудитесь, не жалея сил... во имя счастья на земле.

Участники торжественного Пленума Железинского райкома комсомола».

Поразмышляем

Честно говоря, мне не хочется комментировать это письмо. И содержание, и пафос, и стиль красноречивее всяких аргументов. Таковы были в ту пору официальные идеологические установки – их и брали на вооружение. Газеты и радио (телевидения в районе в ту пору практически не было), партийные и комсомольские функционеры употребляли все эти идеологические штампы по обязанности, по службе, на официальных мероприятиях... Обычный люд – почти никогда.

Молодые люди просто жили: учились и работали, влюблялись и расставались, заводили семьи... Они просто жили, не особенно задумываясь о своём будущем, которое представлялось большинству определённым и ясным.

Живи как все, подчиняйся общим правилам поведения – и всё у тебя получится. Родное государство не обидит, не даст пропасть. Так в большинстве своём тогда и жили – небогато, скорее бедно, но независтливо, открыто, участливо.

Все мы, выросшие на излёте хрущевской волны, были (а многие и остались) неисправимыми романтиками. Скажем, не таким уж редким явлением было такое: рвануть после окончания школы всем классом куда-нибудь за тридевять земель на ударную комсомольскую стройку. Это притом, что и дома работы было хоть отбавляй. Но то – дом, а то – ударная комсомольская...

Вот и моя родная Березовская средняя школа отличилась в ту пору патриотическим комсомольским почином. В 1967 году четверо выпускников-романтиков отправились на Всесоюзную ударную комсомольскую стройку – сооружать Саяно-Шушенскую ГЭС. Никто их не агитировал, наоборот, учителя осторожно отговаривали, да и родители не были в восторге от этой затеи, пугали трудностями. Но четвёрку это только раззадоривало: «Трудности? Так они-то нам и нужны!».

Едва получив аттестаты зрелости, они отправились на очередную стройку века. Они – это мой старший брат Шурка (он, кстати, и был главным идейным вдохновителем почина), его друзья Юрка Бурдаков и Толик Тетерин, а также две девушки – одноклассницы – Любка Бондаренко, Людка Семанина и её подруга из Железинки – за компанию.

Как и следовало ожидать, в штабе ударной они получили от ворот поворот: стройке требовались квалифицированные рабочие, а не вчерашние школьники, хоть и настроенные по боевому, но не владеющие нужными специальностями.

О возвращении домой нельзя было и думать – позор ведь, засмеют... И они не без труда, но всё же устроились на работу в посёлке Шушенском – в местном строительном управлении. Стали строить город-памятник на месте давней ссылки В.И. Ленина. Не Саяно-Шушенская, конечно, ГЭС, но тоже неплохо. О них писали газеты – местная «районка» и наша казахстанская «Ленинская смена». На следующий год в Шушенское отправилась новая группа выпускников нашей школы... Правда, никто из обоих десантов не задержался здесь больше года-двух... А вот мой брат связал свою судьбу с Шушенским, похоже, навсегда – до сих пор живёт и работает там...

... Не будем их слишком строго судить из нашего XXI века. Куда важнее – попытаться понять их...

Они были лучшими?

Тринадцать человек – передовиков социалистического соревнования – упомянуты в послании. Надо полагать, именно они должны были олицетворять собой тогдашнюю молодёжь района, его славу и гордость.

Своеобразен подбор имён – в нём лишь механизаторы и животноводы.

Николай Ралдугин – тракторист-комбайнер совхоза «Мирный». (Я помню его – мастер был, каких поискать).

Асия Каиргельдина – доярка из «Озёрного». (Потом её имя будет греметь в районе и области, как женщины-механизатора).

Николай Устименко, Николай Шарабоков, Николай Горбанёв из «Михайловского» – все трое мои земляки.

Елемес Садыкова – доярка из «Весёлой рощи», Раиса Саликова – доярка из «Железинского», Николай Коверко – комбайнер из «Мирного», Рамазан Айсобеков – скотник из «Червоноукраинского»...

Остальные фамилии не прочитываются – только профессия: доярка, чабан, скотник, комбайнер, шофер, механизатор.

Тут всё очень просто – в то время полагалось поднимать на щит, притом по заслугам, людей труда, представителей основных рабочих профессий. Что и было сделано.

Мне неизвестно, как сложилась судьба большинства из тех, чьи имена были названы потомкам. Скажу – о земляках.

Николай Шарабоков, рубаха-парень, простой, открытый, весёлый, с которым мы жили на одной улице и учились в одной школе, давно ушёл из жизни. Вечная ему память! С Николаем Устименко мы тоже когда-то жили на одной улице и учились в одной школе. Именно он на своём «ЗИЛе» привёз меня за 180 километров из совхоза в Павлодар, откуда я улетел в Алматы – поступать в университет. Я это всегда помню. Классный

шофёр (все дальние рейсы были его) и классный комбайнер – 500-700 тонн зерна за сезон намочивал, человек с весьма своеобразным характером, Николай многие годы работал в «Михайловском». Теперь совхоза нет, автопарка – практически тоже, зерновых сеют крохи, и отличный работник по сути оказался не у дел. Грустно, но это так.

Николай Дмитриевич Горбанёв – старший из всех троих. Обычная для той поры судьба. Родом из Воронежской области, служил под Ленинградом, после демобилизации, не заезжая домой, махнул на целину, где уже работали сёстры Надежда и Ольга. Прижился, женился. Почти всю жизнь проработал шофёром в «Михайловском» и «Червоноукраинском».

Николая Дмитриевича – опять же через земляков – я разыскал в производственном кооперативе Луганск (бывший колхоз имени Тельмана). Спросил по телефону «за жизнь». Земляк был краток:

– Мне 61 год, пенсии ещё нет – по новому закону рано, занимаюсь домашним хозяйством. Трое детей. Сыновья, Сергей с Алексеем, пытаются наладить собственное дело, дочь Татьяна недавно закончила кооперативный колледж – начала работать.

– Помню ли комсомол, целину? Конечно... Дружно жили – открыто, весело, молодёжи было много. У нас комсорг была Стуканова, я как-то взносы вовремя не заплатил – наката-ла карикатуру в стенной газете... До сих пор помню. Новогодние «огоньки» в совхозном клубе помню.

– Какое лучше время: это или то? По мне – конечно, то. Я получал в месяц 150-170 рублей, мог съездить каждый год в Москву и на Кавказ, отдохнуть, да ещё одеться... А теперь? Попробуй за две сотни километров до Башмачного добраться... Да ладно, все о делах. Ты лучше в гости приезжай – поговорим, баню натопим...

Вот это по-нашему, по-целинному. Спасибо, Николай Дмитриевич, может, и приеду...

Капсулы времени

Справедливости ради заметим, что мы были не оригинальны в своём порыве донести свой голос (пусть и в напечатанном виде) до потомков. Оказалось, в мире замурованы тысячи таких капсул, заложенных с подобной целью. Одна из самых знаменитых – с посланием американского президента Джорджа Вашингтона грядущим поколениям, замурованная в 1793 году в фундамент нового здания Капитолия. Кстати сказать, капсулу с этим посланием до сих пор не отыскали.

В городе Юрга на праздновании его пятидесятилетия в 1999 году приняли очередное письмо к потомкам, и теперь здесь имеется целых три капсулы. Одна приурочена к 2017 году (это, если кто забыл, 100 лет Великой Октябрьской Социалистической революции), вторая, заложенная в 1975 году – во время празднования дня Победы – послана в 2025 год, а последняя отправлена в 2049 – к столетию Юрги. В последнем послании юргинцы написали потомкам: «... Любите наш прекрасный город, где продолжают жить наши души, остались наши судьбы, радости и тревоги...». Что тут скажешь – прекрасные слова...

Газета «Нью-Йорк таймс» в 2000 году организовала материальное послание к потомкам. Цель – рассказать землянам будущего о жизни простого человека на пороге XXI века. Посылку формировали жители трёх маленьких городков – американского, французского и бразильского.

Что же для их жителей стало материальным выражением их бытовой жизни? Вот он, этот список: сотовый телефон, обручальное кольцо, таблетка виагры, пульт дистанционного управления от телевизора, знак «парковка завершена», набор кулинарных рецептов, книга Антуана Сент-Экзюпери «Маленький принц».

После этого уже газета «Известия» провела опрос в маленьких российских городках и посёлках – с той же целью. Набор получился следующий: книги Пушкина, чайник, детская погремушка, набор для домашнего консервирования, лопата, машина «Жигули», печка – «буржуйка». Как послать потомкам автомашину и печку? Да хотя бы в виде моделей...

Не расстанусь с комсомолом?

Работая над этим материалом – уже для книги, я решил опросить нескольких своих знакомых – бывших комсомольцев – на предмет их отношения к этой молодёжной организации и её членам.

Картина, по правде говоря, сначала вырисовывалась неутешительная.

– Волосы дыбом, зубы торчком – старая блядь с комсомольским значком, – продекламировала однокурсница, с грустью констатируя, что это и про неё тоже.

Один из бывших крупных чинов областного масштаба, строитель по профессии, изъяснился ещё грубее:

– Да помню я этих комсомольских активистов: пьют и трахаются (было употреблено более смачное выражение), как взрослые, а работают, как дети!

Многие, впрочем, вспоминали о комсомоле с теплотой, говорили о большой его роли в жизни молодежи советской поры, в воспитании подрастающего поколения, как, впрочем, с тревогой – о том, что комсомольская ниша во всех постсоветских государствах пустует, заполняясь суррогатами бездуховности...

А для кого-то слово комсомол и сегодня звучит как боевой призыв – горячит кровь, зовёт в дорогу. В Павлодаре уже не один год существует неуставная организация ветеранов комсомола. Ежегодно, 29 октября, в день рождения комсомола, до сотни и больше людей собираются в одном из кафе

или ресторанов города на свою очередную встречу. По форме она копирует (с разумной долей иронии, разумеется) отчетно-выборную комсомольскую конференцию. Вносится знамя неуставной организации, произносится отчетный доклад, звучат приветствия юных пионеров, идёт приём новых членов, которых обязательно рекомендуют действующие члены неуставной организации.

Попав на такую встречу впервые, я сначала чувствовал себя не в своей тарелке: действо вокруг напоминало настоящий театр абсурда... А потом понял: люди просто тоскуют по своей молодости, они искренне рады видеть друг друга, рады сбросить с себя груз лет и обязанностей, вновь окунуться в дорогую для них атмосферу... Им есть за что любить комсомол — для большинства из них он стал ступенькой в карьере, многим помог состояться в жизни. Впрочем, на такие встречи приходят и те, кто не был комсомольским функционером, но, как принято говорить, состоял в выборных комсомольских органах, вращался в этих кругах.

Павлодарская неуставная организация ветеранов комсомола — уникальная в своём роде, подобной нет на просторах СНГ. Возглавляет её уже не один год на общественных началах Михаил Крюков, бывший когда-то первым секретарём Павлодарского обкома комсомола. Вечера-встречи подпитывают финансами бывшие павлодарские комсомольцы, а приветственные телеграммы собратьям по ВЛКСМ шлют из Алматы и Астаны, российских городов, включая и Москву, из заграницы. Как-то даже пришло приветствие от Б.Н. Пастухова — некогда первого секретаря ЦК ВЛКСМ, а теперь заместителя министра иностранных дел России.

Есть у неуставной комсомолии и свой гимн, сочинённый Владимиром Герасименко — также бывшим первым секретарём Павлодарского обкома комсомола. Как и положено, гимн исполняют хором:

*«В огне Гражданской комсомол мы создавали.
В лихой атаке наша молодость прошла.
В борьбе с разрухой закалялись твёрже стали,
Чтобы заря над Родиной взошла.*

Припев:

*Я с комсомолом прошёл свой путь,
Он стержень мой, моя основа.
И если юность мне опять вернуть,
Я в комсомол вступил бы снова.
Мы пятилетки за три года выполняли,
Стремилась время и пространство покорить...».*

и т.д.

Что остаётся сказать в завершение? Что времена не выбирают? Что комсомол давно умер, а на замену ему так и не родилось ничего путного, сколько-нибудь достойного?

Скажу, наверное, так: не будем плевать в своё прошлое, из которого все мы вырастаем. В нём было всякое: и хорошее, и не очень, и даже плохое. Но без всего этого мы бы не стали теми, кем мы стали.

2000-2002 годы

Из книги «Мои современники»

Сопротивление материала

Сын японского шпиона

Почему одним людям удается в жизни почти все, а другим не удается почти ничего? Что нужно для того, чтобы твоя жизнь состоялась, и потом не было, по определению известного литературного героя, «мучительно больно за бесцельно прожитые годы»?

Точных рецептов, конечно, нет, хотя при желании можно вывести некие общие закономерности, которые способствуют достижению высокой цели. В этом ряду прежде всего наверняка должны быть и благополучная семья, и нормальное детство, и возможность учиться – все то, что позволяет каждому уже в начале жизни ощущать себя нормальным человеком среди других людей, ни в чем не ущемленным по сравнению с ними. И, наоборот, травмы, нанесенные в детстве, особенно психические, нередко имеют самые тяжкие последствия, а иногда – ломают человеку всю жизнь.

Плохо, когда сын растет без отца. А каково ему в стране, где «от тайги до британских морей Красная Армия всех сильнее», если его отец – враг народа, японский шпион? Мальчишке всего десять лет, он знает, что его отец – сильный, очень добрый, самый лучший... Как хорошо им вечерами читалось при свете керосиновой лампы... Чтение вслух при всей семье было чем-то вроде праздника. Отец столько знал и столько умел, с ним было так хорошо и так спокойно... И вот – враг, шпион... Как можно было поверить? И как не поверить: суд, приговор – десять лет без права переписки.

Сын не поверил. И несколько лет спустя, чуть повзрослев, вступил в переписку с... Берией. С тем самым, Лаврентием

Павловичем. Писал не единожды. Через какое-то время после очередного письма мать вызывали для бесед в «органы». Приходила испуганная, заплаканная: «Христом Богом прошу тебя, не пиши больше...».

Страшные были времена. И странные. Когда сын врага народа заболел тяжелой формой костного туберкулеза, ему дали направление на лечение в один из специализированных детских санаториев на берегу Черного моря. И опять все было правильно: первое в мире государство рабочих и крестьян карало врагов народа, но – сын за отца не отвечает, сказал сам Сталин, – и сына японского шпиона лечили за счет того же государства.

Почти три года провел он в этом санатории: все время в гипсе – полный покой и полная неподвижность. Даже для взрослого человека – это труднопереносимые муки, а каково ребенку, для которого бегать так же естественно, как птице летать? Когда выписали, учиться ходить пришлось заново, на костылях. Врачи особо наказали: никаких лыж, коньков, никакого велосипеда...

Он мог погибнуть дважды в те годы. Во-первых, если бы еще на год задержался в санатории (а врачи на этом настаивали), а во-вторых, если бы прислушался к их наставлениям по части покоя. Дело в том, что вскоре после того, как мать забрала его домой, началась война, Крым захватили немцы, и весь персонал вместе с больными детьми был уничтожен. И еще в том, что, как впоследствии оказалось, их всех неправильно лечили: в движении, и только в движении (с помощью специальных гимнастических упражнений) было единственное спасение страдающих тяжелым недугом мальчишек, покой и неподвижность вели их к верной инвалидности и гибели.

Его спасла обыкновенная обида – взыграло самолюбие... С год он терпел предписанный режим. А однажды... Друзья-

приятели играли в футбол, он стоял на краю поля, как обычно, опершись на костыли. Мяч подкатился прямо к ногам, он не удержался – пнул, но неловко и сам упал. Кто-то засмеялся... А он, взбешенный и обиженный до глубины души, доскакав домой, тут же изрубил на мелкие куски и костыли, и татор – специальный корсет, который разрешалось снимать только на ночь.

Потом началась война. На скромную материну зарплату было не прожить. Лет с пятнадцати впрягся в мужскую работу – пахал землю, косил сено, скирдовал... О болезнях некогда было думать, сначала еще прихрамывал, а затем окреп, заматерел: по скошенной стерне ходил босиком – и хоть бы что...

В войну всем хватило лиха. Сыну врага народа было еще тяжелее: еще не вступив в самостоятельную жизнь, еще не успев в ней ничего сделать, он уже был виноват перед обществом. Виноват без какой бы то ни было вины. Ему нельзя было быть комсомольцем. Значит, ты в стороне от стольких интересных, кипучих дел, которых так требует, так жаждет твоя энергичная натура...

Ему много чего было нельзя... Ему ничего не давалось, как многим другим, просто так. Может, потому он так рано и повзрослел, усвоив для себя простую и жестокую правду: ему не на кого рассчитывать, неоткуда ждать помощи, скорее, наоборот – надо быть готовым к тому, что многое будет против него. Что иногда надо жить и действовать не только благодаря чему-то, но и несмотря ни на что и даже вопреки чему-то. Вряд ли он сформулировал свою жизненную позицию именно так в те молодые годы. Но то, что уже тогда, столько пережив, интуитивно определил для себя примерно такую систему координат, это точно. В противном случае его жизнь сложилась бы совсем иначе. Если бы сложилась вообще...

Учитель

Учителем он стал не сразу. В победном сорок пятом окончил вечернюю школу рабочей молодежи, получил аттестат и рванул за своей первой любовью в Киев. Поступил в институт киноинженеров, попал в нехорошую компанию, куролесил... Как побитая собака, бежал домой, так и не объяснившись в любви со своей симпатией. До Петропавловска добирался девять суток – голодный, оборванный, без единой копейки – на крышах вагонов.

В сорок шестом поехал учительствовать в глухое дальнее село. А уже через год его (двадцатилетнего!) назначают директором школы-семилетки, все в той же глухомани. Мать чуть не силой повела новоиспеченного директора на барахолку, чтобы купить пусть не новый, но мало-мальски приличный костюм. А сын заметил старушку, продававшую солидные книги, с тисненым золотым обрезом. Уехал без костюма, зато с 80 томами дореволюционной энциклопедии Брокгауза и Эфрона. Время было не только глухое и бескнижное, но и голодное... Книги стали его спасением, его университетами в деревенской глуши: сперва просто глотал, потом перечитывал, штудировал, конспектировал... Выписывал новые – откуда только можно было.

Подбрасывала жизненного материала и деревня, с ее бытом, нравами, неповторимыми характерами. Чего стоил один председатель сельсовета в неизменном сталинском кителе и обязательных галифе. С народом на собраниях он изъяснялся витиевато-изысканно. Например, так: «Из сидящей здесь массы вытекло мнение...». Или вот еще: «Как будем голосовать: персонально или за каждого в отдельности?» Все это тоже впитывалось, откладывалось в тайниках памяти.

Экзамены в Омском педагогическом институте сдал за год, экстерном, почти без напряжения. Его заметили. Уже в 23 года – инспектор школ облоно. Карьера – головокружитель-

ная: по возрасту мальчишка, а под его началом фактически все школы области... Но голова не кружится, ведь жизнь только начинается, еще столько предстоит сделать. Через год, в 24, начинает читать лекции в Петропавловском пединституте. Довелось поучить кэзэбэшника, в свое время проработывавшего мать за строптивного сына, вступившего в переписку с Берией. Студент-заочник, человек уже в годах, узнавал старого знакомого на лекциях, опускал глаза. В первые мгновенья была некая мстительная радость, но желания мстить не возникало.

Стал проректором института. Уже была семья, двое сыновей. Жизнь складывалась вполне спокойная, размеренная. И тут, в 34 года, он делает то, что потом не раз будет делать – все круто меняет. Многие из тех, кто хорошо его знал, назвали этот шаг безрассудным. В 1960 году в Петропавловске открывается студия телевидения, и он уходит туда главным редактором. Зачем? Наверно, стало скучно, захотелось новых ощущений – есть люди, которые плохо переносят размеренное течение бытия.

Журналист

В октябре 1997 года Сергею Павловичу Шевченко исполнилось 70 лет. Ровно половина (даже чуть больше) жизни отдана журналистике: радио и телевидению, газете, книгам и фильмам.

В Павлодаре он с 1965 года. Был среди тех, кто стоял у истоков создания студии телевидения в нашем городе. В то время здесь не оказалось ни одного человека, знакомого со спецификой нового дела. На должности с экзотично звучащими тогда названиями – телеоператор, режиссер, ассистент, диктор – пробовали всех желающих. Те, кого брали, готовы были работать сутками бесплатно. День, когда вышла в эфир первая телепередача, стал настоящим праздником и для работников телевидения, и для горожан. Это было настоящее чудо: местное теле-

видение пришло в Павлодар раньше московского. Дикторов, тележурналистов узнавали на улицах, они были популярны, как кинозвезды.

Павлодарская телестудия стала одной из лучших в Казахстане. Здесь первыми среди областных телестудий начали использовать передвижную телевизионную станцию, видеозапись, цветное изображение. И во всем этом, как принято говорить, есть прямая заслуга С.П. Шевченко. Многие мэтры павлодарской тележурналистики называют его своим учителем и до сих пор дружат с ним. И сам он считает ту пору прекраснейшей полосой своей жизни.

А потом, когда все на телевидении было налажено и работало как часы, в его судьбе вновь происходит крутой поворот.

На этот раз он ушел в областную газету «Звезда Прииртышья». То были не лучшие для нее времена: прежний редактор оставил газету не по своей воле, и нового здесь встречали без особого энтузиазма. Скорее, с некоторым скепсисом. Мы, газетчики, считали себя, если можно так выразиться, первыми среди равных, относясь к тем же телевизионщикам с некоторой долей превосходства. Вряд ли у нас были на то основания, но, наверное, не погрешу против истины, если скажу, что то же самое думали про себя и про нас, газетчиков, тележурналисты — разумеется, с точностью до наоборот... И вот нам присылают чужака... Ну, руководил телевидением, ну книжки пишет, но что он смыслит в газетном деле? А он и не скрывал, что не знает технологии производства газеты, не боялся в этом признаваться, первое время во всем полагался на своего верного зама Петра Арсентьевича Побережникова.

Время было по-партийному строгое, как после шутили остряки — расцвет застоя; газета, само собой, находилась в жестких партийных рамках, но все мы как-то очень быстро почувствовали, что в редакции стало полегче дышать. Не переоценивая

сделанного в те годы, могу сказать, что именно тогда в «Звезде Прииртышья» вновь утвердилась атмосфера открытости, известного свободомыслия, журналистского товарищества.

В то время у нас был очень сильный творческий состав: много писали Юрий Ковхаев, Владимир Воронов, Петр Побережников, Павел Лефлер, Павел Оноприенко, уже утвердились в редакции Виктор Семерьянов, Геннадий Бабин, Людмила Гришина, заявляла о себе молодая журналистская поросль. И каждый со своим норовом... Шевченко очень органично влился в нашу контору (так мы любовно-иронично именовали редакцию), быстро стал своим. Он был доступен, открыт, дружелюбен. Мог, не читая, подписать аналитический материал размером с газетную страницу, а на недоуменный взгляд автора пояснить: «Ну, ты же профессор в этом деле, что же я тебя перепроверять буду?».

Как-то так повелось издавна, что редактор газеты вроде не считается журналистом. Он, конечно, шеф, должен где-то представлять, давать задания (иногда — нагоняи), читать и подписывать материалы... Но писать самому ему как бы необязательно. Ведь хорошо это вообще мало у кого получается, а плохо писать вроде неудобно — все же редактор. Шевченко писал. Нечасто, но заметно. Некоторые наши газетные авторитеты кривились: это, мол, не журналистика, а какие-то проповеди, литературщина. А он продолжал делать то, что считал нужным, и стал лауреатом премии Союза журналистов СССР. А эти премии тогда просто так не давались — тем более редакторам газет из глубокой провинции.

Редакторская ноша никогда не была легкой — это нервная, изматывающая должность. А он умудрялся, делая газету, писать статьи и очерки для журналов, сценарии для фильмов, книги. Каждая полоса его жизни так или иначе отразилась в его книгах. Первую он написал в больнице: его деятельная натура бунтовала против размеренного больничного быта. Это была

повесть «Пушки грохотали далеко» – о мальчишеском военном детстве. Он рискнул прийти с ней к самому Ивану Шухову – земляку, с которым познакомился и отчасти подружился несколько лет назад. Шухов уже тогда был почти канонизированным классиком и редактором «Простора», имевшего всесоюзную известность. «Ишь чего захотел – сразу в «Простор», – проворчал Иван Петрович. Вызвал одного из сотрудников и в присутствии наглеца-автора дал тому наказ построже посмотреть повесть. Тот же вместо ожидаемой уничижительной критики написал... рекомендацию в одно из алма-атинских издательств с предложением напечатать книгу. Рецензентом был Иван Щеголихин – ныне известный казахстанский писатель, парламентарий.

В издательстве сделали все, чтобы навеки отбить у начинающего литератора охоту браться за ручку. Беспардонно вмешивались в текст, уродовали его, выбросили лучшую главу – о том, как повесилась девочка, у которой украли в войну хлебные карточки на всю ее семью. «Советские пионерки не вешаются», – поучал молодого автора редактор. И стращал: «Не хочешь пожертвовать главой – в таком случае вылетит из плана вместе с ней вся твоя книжка».

Так его «учили» жить. А он все равно писал: вышли повесть в «Просторе» «Сегодня вы увидите», навеянная его телевизионными буднями; отдельной книжкой – роман «Наследство», где частично прочитывалось институтское и военное прошлое. Начались большие дела в Экибастузе, и он с головой ушел в работу: архивы, поездки, встречи с людьми. Работал как одержимый. Его документальная книга «Экибастуз» выдержала два массовых издания. Конечно, сейчас он многое бы в ней написал иначе, но пока что никто другой ничего лучше, значительнее об этом городе, его бурном взлете не написал.

Перестройку Шевченко встретил с радостью, принял ее всем сердцем, жадно впитывал в себя новости, радовался пере-

менам (откуда ему, да и всем нам, было знать, куда нас заведут ее архитекторы...), снова взялся за книжку, писал урывками, до изнеможения. Небывалый случай: первая ее часть вышла в «Просторе», когда вторая еще была в работе... Потом книга выйдет отдельным изданием под заголовком «Да вершится!», получит массу искренних доброжелательных откликов. Ему писали письма об этой книжке даже совсем незнакомые люди.

В биографических очерках людей такого ранга, как С.П. Шевченко, обычно принято называть и высокие правительственные награды, коих они в свое время были удостоены. Я лишен возможности использовать этот испытанный прием выпячивания достоинств своего героя. Ни одного ордена Шевченко не получил. Знаков трудовой доблести немало: «Отличник народного просвещения», «Отличник телевидения и радио СССР», Лауреат премии Союза журналистов, бесчисленные почетные грамоты. Даже знак «Шахтерская слава» – за пропаганду ЭТЭКа – есть. А в разрядки на ордена не попал.

В чем причина? При своей неординарности человек этот нередко не вписывался в ряды номенклатуры. С ним считались, но до конца «своим» не признавали.

А было и такое.

В разгар перестройки в редакцию «Звезды Прииртышья» пришла разрядка – представить кандидатуру на присвоение звания «Заслуженный работник культуры Казахстана».

Собрался «ареопаг» – редактор, заместители, секретарь партбюро, председатель месткома.

Решение было единодушным: учитывая заслуги редактора, предстоящее его 60-летие, звание ему и присвоить. Не согласился с таким решением только один человек, сам редактор, посчитав, что это с его стороны будет нескромным.

Почетное звание присвоили другому работнику редакции.

Пенсионер

Каково человеку на пенсии, особенно ушедшему с престижной, высокой должности, знает лишь тот, кто уже проделал сей путь. Не надо быть ясновидцем, чтобы предположить: не очень хорошо, неуютно, одиноко. И в самом деле: еще вчера был нужен всем, а теперь не нужен никому. То не хватало дня, а теперь весь день нечем себя занять...

Шевченко счастливо избежал участи большинства стареющих – вечно брюзжащих, всем недовольных, жалующихся. У него на все это нет времени. Как и раньше, он каждый вечер составляет список неотложных дел на завтра, вечером следующего дня вычеркивает выполненные пункты, добавляет новые. Иногда сердится на себя: «Да что это я, в самом деле, с этим дурацким списком, кто меня гонит?» Потом, поразмыслив, приходит к выводу, что привычки менять поздно, и снова берется за карандаш.

Чем же так занят на заслуженном отдыхе пенсионер бывшего союзного значения С.П. Шевченко? Тем же, чем и раньше. Пишет статьи и очерки, недавно стал лауреатом премии областной организации Союза журналистов за материалы, опубликованные в «Звезде Прииртышья». Кроме того, он один из самых активных собкоров республиканской газеты «Сельская новь», где состоит на штатной работе. Два года еженедельно вел занятия в придуманной и организованной им школе-студии для литературно одаренной молодежи. Два года вел на областной студии прекрасную авторскую телепередачу «Зеленая лампа» – о вечных ценностях нашей жизни...

А еще написал пять книг. В их числе уже знакомые павлодарскому читателю «Зимние каникулы» и «Завод и время». Завершена работа над рукописью документальной книги «Глегенсу – Желанная вода» – об истории создания канала Иртыш-Караганда и людях, здесь работающих.

Итого за спиной десяток книг, полтора десятка сценариев, по которым сняты документальные фильмы, не одна сотня статей, очерков и других материалов в газетах и журналах. А еще десятки людей, которым он помог найти свое место в жизни, обрести себя в журналистике и не только в ней.

В жизни ему всего было отмерено полной мерой – и счастья, и несчастья. Порой судьба обходилась с ним очень круто, но он выстоял. Один из лучших его рассказов называется «Сопротивление материала». Это трагическая история о доброте и мужестве, о силе человеческого духа. И хотя всякое сравнение хромает, я бы рискнул соотнести вполне состоявшуюся жизнь Сергея Павловича с этим научным термином. Стойко переносить удары судьбы, в любых обстоятельствах оставаться самим собой, по-мужски делать свое дело – ведь это тоже «сопротивление материала».

* * *

Перечитал написанное. Вроде все так, правильно. Но какой-то герой у меня получился... однозначный. Все работал, писал... А ведь он, как бы это поточнее выразиться, любит жизнь и в других ее проявлениях. Он человек увлекающийся и где-то даже с авантюрной жилкой. Любитель компаний – и чисто мужских, и смешанных. Не трезвенник, женщинам ручки целует... Заядлый дачник и винодел... И по части силы воли есть слабинка – никак курить не бросит, хотя сколько раз обещал...

О нем еще много чего можно рассказать. Но, с другой стороны, есть законы жанра – все же я писал биографический очерк и должен был представить героя в том, что было для него в жизни главным. Об остальном как-нибудь потом, в следующий раз.

«Звезда Прииртышья», октябрь 1997 года

Что было потом

К своему 70-летнему юбилею С.П. Шевченко выпустил книгу «Уходя, оглянуться» – сборник рассказов и очерков. Особенно хороши в ней, на мой взгляд, новеллы о близких – художественно насыщенные, по-человечески проникновенные. В этой книге, кстати, опубликован упомянутый прежде рассказ «Сопротивление материала».

Павлодарский поэт Виктор Семерьянов откликнулся на выход сборника доброжелательно-ироничным четверостишьем:

*Уходить, это, блин, не вернуться,
И пришлось пессимизм охладить:
Зря назвал: «Уходя, оглянуться» –
Оглянулся – зачем уходить?*

И он не ушел. Опять удивил. Начал работать в Доме-музее Павла Васильева. Как оказалось – не без умысла: буквально за год родилась новая книга – «Будет вам помилованье, люди...». Это совершенно новый жанр для Шевченко – книга литературоведческая... Напомнил о себе, оказался востребованным опыт преподавания литературы в пединституте, что же касается творческой формы автора, то в ней он, похоже, остается всегда...

Во всяком случае, в аннотации к этой книге, вышедшей в Астане, говорится: «В книге Сергея Шевченко есть редкое сочетание – скрупулезный, тщательно выписанный документ эпохи переплетается с тонкими и глубокими наблюдениями и раздумьями над художественной стихией поэтического дарования Павла Васильева».

Кстати говоря, редкий случай – столичное издательство само нашло автора, заинтересовавшись главой из новой книги, напечатанной в «Казахстанской правде». Вторым изданием книга «Будет вам помилованье, люди...» выходит в Павлодаре к

90-летию со дня рождения Павла Васильева. Кроме того, к этой дате будет выпущен сборник избранных произведений поэта, составленный С.П. Шевченко. Он же написал предисловие к сборнику. А еще Сергей Павлович одержим идеей организовать необычную экспедицию по местам, так или иначе связанным с творчеством Павла Васильева и упоминаемым в его стихах и поэмах. Здесь должны быть Зайсан и Семипалатинск, Лебяжье и Павлодар, Иртышск и Урлютюб, Черлак и Омск...

Есть у Сергея Павловича еще один замысел. Как всегда, дерзкий. Правда, о нем он пока особо не распространяется. Мне сказал только, что это должна быть еще одна книга – может быть, главная книга его жизни.

***Просто вспомнилось
(вместо послесловия)***

Какой ещё был человек Сергей Павлович? Разный... Отчаянный жизнелюб и ярый спорщик, человек большой души и почти всегда сам – душа любой компании. Их с Еленой Федоровной дом всегда оставался открытым для всех, и кто только не сиживал за их щедрым дастарханом.

Каждый, кто знал Сергея Павловича, наверняка вспомнит что-то своё, сокровенное... Кому-то он вовремя подставил плечо, кого-то наставил на путь истинный, кому-то помог на творческом пути. И дружить он умел как никто другой, рядом с ним было спокойно и надёжно.

Он знал цену хорошей шутке и любил пошутить сам.

Вот я прихожу к нему:

– Надо посоветоваться...

– Совет – не баран, – неизменно следовало в ответ, – это я могу сколько угодно.

А совет часто оказывался подороже барана.

Заметил, как я украдкой листаю «Простор» со своим очерком, – смеется:

– Да вижу-вижу, не прячь... По себе знаю: авторы самолюбивы как пудели...

Были с ним в одном из районов на встрече с читателями: он – как писатель, я – как редактор. После этого само собой дастархан. Хозяева деликатно интересуются у меня гастрономическими пристрастиями аксакала. Сергей Павлович был туговат на одно ухо, но тут всё сразу уловил и изрёк:

– Никогда не спрашивайте у гостя, хочет ли он, чтобы хозяин зарезал для него курицу. Гость – ишак в руках хозяина, куда хозяин захочет, туда ишак и поедет.

Так сразу был задан тон тому прекрасному вечеру, на котором все мы – и гости, и хозяева – отдохнули душой.

Начало девяностых годов. Позади, как написал один поэт, «гнилой застой, впереди – мираж», цены растут не по дням, а по часам, в домах холодно, электричество отключают. Звоню ему – уже не помню теперь, по какому поводу – спрашиваю – как дела?

– Если верить газетам – всё лучше и лучше.

Любитель застолий, он знал массу шуток-прибауток, присловий, связанных с выпивкой. Сам же, «приняв на грудь» первую рюмку – как правило, водки, – закусывать не спешил, поглаживая живот, приговаривал:

– Пущай она там маненько поиграет.

Вышел мой очерк к его 70-летию в «ЗП».

Вечером звонит:

– Целый день от телефона не отхожу, звонят, поздравляют... Молодец, хорошо написал... Так что бутылка с тебя!

– С меня-то почему?

– Ну как – ты же на мне своё мастерство оттачиваешь!

... Он зашёл ко мне перед отъездом в Алматы, где ему предстояла сложная операция. Мы оба не знали, как себя вести, и я сказал: что, мол, мы – два мужика, тут будем разводить те-

лячи нежности, вот вернётесь – как следует отметим это дело и заодно поговорим. Он смутился, что вообще-то было ему не свойственно, и почти сразу ушёл. А во мне с тех пор живёт чувство вины – даже не попрощались по-человечески...

Он был редкой породы человек. Мне его очень не хватает.

«Жизнь моя – железная дорога»

Факты из биографии Аби Саркыншакова

Очень часто именно детство определяет всю дальнейшую судьбу человека. Так было и у Аби Саркыншакова. Он вырос на затерянном в казахстанских просторах крошечном железнодорожном разъезде. Точно таком, какой описан у Чингиза Айтматова в «Буранном полустанке» – здесь даже поезда почти не останавливались, и жили всего несколько семей железнодорожников.

У него был шанс стать агрономом, журналистом... Но все-таки он стал железнодорожником. Учиться поехал в Ташкент, там было в ту пору 15 институтов, он выбрал в железнодорожном факультет эксплуатации железных дорог. Последний потому, что здесь была самая высокая стипендия. А это для него и его немолодых, неграмотных и далеко не богатых родителей имело не последнее значение.

Поступить-то поступил, а как учиться, если занятия велись на русском языке, а он окончил казахскую школу. Так что первое время Аби было очень нелегко, но русским он занимался очень усердно и постепенно освоил его. Втянулся в студенческую жизнь, выполнял комсомольские поручения, занимался спортом, писал заметки в институтскую многотиражку.

И вот в кармане диплом инженера по эксплуатации железных дорог и направление – на станцию Павлодар. 1956 год. В то время, конечно, и Ташкент был не тот, каким он стал позднее.

А что говорить о Павлодаре? Деревня деревней. Песок, пыль, одноэтажные домишки, саманушки, почти нет зелени...

К тому времени был построен знаменитый шестнадцатиквартирный – первый многоэтажный (в три этажа!) дом в городе. Областные и республиканские газеты публиковали его снимки, неизменно сопровождая подписями такого содержания: растет, благоустраивается и хорошеет наш Павлодар...

Аби прямо с поезда пошел в отдел кадров, представился. Сказали: есть инженерные должности. А он попросился стрелочником – хотел начать с первой рабочей профессии... Назначили дежурным по парку станции Павлодар.

Как же он мерз в свои первые павлодарские зимы! Он ведь был южанином, да и учился в Ташкенте, где зимой вполне можно было обойтись без теплого пальто и шапки. А тут ветры, бураны, морозы за минус сорок. На работе еще ничего, а дома, ночью... Домом был то один, то другой списанный вагон с печкой-буржуйкой. Пока топишь – терпимо, а перестал – через час холод до костей пробирает. К холоду он, кажется, до сих пор не привык...

А в остальном жизнь шла своим чередом. Быстро продвигался по службе: дежурный по станции, инженер станции, поездной диспетчер. Кругом было много молодежи, его уже знали, избрали секретарем комсомольской организации... Как-то мы с ним просматривали сохранившиеся с тех лет (1957-1958 годы) протоколы комсомольских собраний. На каком-то из них от души чехвостили нарушителей трудовой дисциплины. И один из выступавших дословно высказался так: «Можем ли мы доверять таким комсомольцам в то время, когда американские империалисты развязали гонку вооружений и готовятся развязать новую мировую войну?». Вот как ставились вопросы. До оргвыводов тогда дело, правда, не дошло...

Меньше чем через четыре года, в 1960-м, Аби Саркыншакова назначили начальником станции Павлодар. И было

в ту пору начальнику 26 лет. Еще через девять лет – с начала 1969 года – он первый заместитель начальника Павлодарского отделения дороги, с 1975-го – начальник отделения. На этой должности он пробыл больше 20 лет: пришел в 41 год, а оставил ее уже после своего шестидесятилетия.

То есть всю свою жизнь Аби Саркыншаков проработал на одном месте, в Павлодарском отделении железной дороги. Редкий, наверное, исключительный случай для кадровых железнодорожников.

* * *

Помимо всего прочего, человеческая жизнь измеряется и тем, что человек успел в ней повидать, что успел сделать. И в этом смысле ему тоже повезло. Рос и развивался, меняясь буквально на глазах, город. Несколько настоящих технических революций пережило и некогда провинциальное, захудалое отделение железной дороги. Сначала это происходило с участием Аби, а потом – под его непосредственным руководством.

На стыке шестидесятых и семидесятых годов все мировые информационные агентства облетела сенсационная новость: в Советском Союзе выпущен последний паровоз. В чем сенсация? А в том, что переход с паровозной тяги на тепловозную в стране с такой протяженностью дорог, с такими пространствами сам по себе означал техническую революцию.

Первые три тепловоза марки ТЭ-3 прибыли в Павлодарское локомотивное депо в марте 1961 года. А вместе с паровозами уходили в прошлое грязь, неуют, сутолока... Тепловозы оказались вчетверо производительнее своих старших собратьев и наполовину быстрее в скорости.

Теперь это неблизкая история, а для Саркыншакова – один из ярких эпизодов его жизни, как, впрочем, и электрификация одного из самых напряженных участков Экибастуз – Целиноград, замена тепловозов электровозами.

Быстро строили второй главный путь на участке Целиноград – Павлодар, а фактически заодно реконструировали и обустроивали все сложное железнодорожное хозяйство...

Потом был ЭТЭК – Экибастузский топливно-энергетический комплекс – особая строка в биографии Саркыншакова. Ведь не только угольщики, но и железнодорожники обеспечивали невиданные темпы развития угледобычи. Вот лишь некоторые цифры.

В конце декабря 1954 года в Экибастузе на едва отстроенном угольном разрезе был загружен и первый состав железнодорожных вагонов.

В середине следующего года добыли первую миллионную тонну, через два года – десятимиллионную. В 1965-м добывали уже более 12 миллионов тонн угля в год. После сдачи в 1970 году в эксплуатацию разреза «Богатырь» объемы добычи резко возросли.

В октябре 1978 года добыта 500-миллионная тонна экибастузского угля. К этому рубежу горняки шли 24 года. А миллиардная будет отгружена всего через семь лет.

Ко всему этому павлодарские железнодорожники имеют самое прямое отношение: весь экибастузский уголь грузился в вагоны и отправлялся по железной дороге на тепловые электростанции Казахстана, Урала, Сибири... Это была трудная, иногда на пределе сил, высокопрофессиональная работа. Объем отправляемых грузов в 1984 году составлял около 97 млн. тонн, в 1985-м – свыше 99 млн., в 1986-м превзошли стомиллионный рубеж погрузки. Возили, разумеется, не только уголь, но и ферросплавы, нефтепродукты, глинозем, тракторы и сельхозмашины, строительные материалы. Хотя главным грузом оставался все-таки уголь.

Чтобы понятнее было, с какими объемами отправления грузов приходилось иметь дело, Аби Саркыншакович как-то

показал мне задание министерства путей сообщения на суточную погрузку, утвержденное министром Н.С. Конаревым для железных дорог страны. Так вот, в феврале 1987 года Павлодарское отделение с заданием на суточную погрузку в 351 тыс. тонн было на 12-м месте в Союзе среди всех железных дорог (не отделений – дорог!). А позади него было еще целых двадцать дорог, включая такие крупные, как Средне-Азиатская, Восточно-Сибирская, Белорусская, Красноярская, Горьковская, Западно-Сибирская и многие другие.

Подсчитано: за первые тридцать лет своего существования Павлодарское отделение железной дороги увеличило грузооборот в 12 раз, а объемы отправления грузов – в 90. То есть отгрузка в среднем ежегодно вырастала втрое. Таких темпов прироста не знало ни одно отделение дороги в бывшем Союзе.

Теперь уже мало кто помнит, что в свое время ставилась задача довести добычу угля в Экибастузе к 1990 году до 170 миллионов тонн в год и построить четыре ГРЭС. В этой связи наши железнодорожники поднимали вопрос о строительстве третьего технологического пути на участке Экибастуз-Целиноград, а также о сооружении второго железнодорожного моста через Иртыш в Павлодаре.

Для Саркыншакова ЭТЭК – время пиковых нагрузок, мучительного поиска нестандартных путей выхода из сверхсложных ситуаций, время удивительных технологических находок, настоящих открытий. Именно тогда зарождались и обретали большую жизнь кольцевые маршруты для угольных эшелонов, движение экибастузских тяжеловесников, технологическое сотрудничество угольщиков, железнодорожников и энергетиков под девизом: «Уголь – вагон – энергия». Тогда прогремела по всей стране затеянная в Павлодаре операция «Ритм». Благодаря ей получил всесоюзную известность алма-атинский журналист Гадильбек Шалахметов, ставший впоследствии пресс-секретарем

Президента Н.А. Назарбаева, возглавлявший международную телерадиокомпанию «Мир», ставший депутатом Мажилиса Парламента.

О каждом из этих блестящих (осуществленных!) проектов можно написать отдельный материал, и не один. Здесь же вспомним короткой строкой лишь о тяжеловесах.

Большие возможности для вождения тяжеловесных составов открылись с внедрением тепловозной и особенно электровозной тяги. Весьма благоприятствовал этому и рельеф местности – большей частью равнинный, без крутых подъемов и спусков. Уже в начале 1981 года на электрифицированных участках от Экибастуза до Тобола железнодорожники ввели в обращение поезда весом до шести тысяч тонн – почти наполовину больше обычного. Получилось. Чуть позднее провели составы в десять с половиной и двенадцать тысяч тонн. И снова удача. Уже на следующий год тяжеловесные составы в восемь – девять тысяч тонн с углем и бокситами стали едва ли не обычным делом.

– Но мы почувствовали, что можно наращивать вес составов, – вспоминает А.С. Саркыншаков, – и в сентябре 1983 года решили сформировать сверхтяжеловесный поезд, равного которому еще не было за всю историю железных дорог не только в Союзе, но и в мире. Тяжеловес в 15124 тонны преодолел расстояние в 922 километра от Экибастуза до Тобола за 22 часа 45 минут. Поезд, в котором было 162 вагона, растянулся на 2364 метра. Это примерно три нормальных грузовых состава. Virtuозно сработали тогда машинисты – как музыканты в хорошем оркестре!

– Конечно, рекорды не были самоцелью, – продолжает Аби Саркыншакович, – мы стремились оптимизировать угольные потоки из Экибастуза. И благодаря слаженности действий с партнерами, массовому внедрению тяжеловесов добивались этого. В 1981 году Целинной железной дорогой (а большая часть пере-

возок на ней ложилась на Павлодарское отделение), было проведено 75 тысяч тяжеловесных составов, в следующем – 82 тысячи, в 1983-м – около 98 тысяч, а в 1984-м – более ста тысяч. В общей сложности – это свыше 180 миллионов тонн дополнительно перевезенных грузов... Мы подружились с учеными Всесоюзного научно-исследовательского института железнодорожного транспорта и в дальнейшем работали в тесном контакте с ними, провели в Павлодаре выездное занятие секции НТО железнодорожного транспорта страны по обмену опытом вождения тяжеловесов.

Результатом сотрудничества с учеными стала проводка в апреле 1984 года поезда-гиганта с углем весом 30220 тонн. Потом замахнулись на 40 тысяч – и потерпели неудачу... Тяжеловес нормально прошел почти весь путь, а на станции Олен-ты часть вагонов сошла с рельсов. Это ЧП могло похоронить все дальнейшие эксперименты. У министра путей сообщения Н.С. Конарева хватило мудрости и смелости поступить иначе. В его телеграмме-распоряжении, которую до сих пор хранит А.С. Саркыншаков, говорилось: «Случай считать исключительным, произошедшим во время уникального эксперимента; продолжить подобные эксперименты по вождению поездов весом 20-25-30-40 тыс. тонн; выбрать наиболее приемлемый вариант...».

Так что министры, они тоже бывают разные... С Николаем Семеновичем Конаревым, доктором технических наук, академиком, Саркыншаков поддерживал отношения много лет, хотя по службе они уже никак не были связаны...

20 февраля 1986 года в Экибастузе был сформирован состав из 440 вагонов длиной около шести с половиной километров и весом 43407 тонн. Его вели четыре локомотива. Он без всяких задержек преодолел 300-километровый участок до Целинограда. Об этом сообщили почти все центральные газеты, телевидение и радио.

Комментируя итоги эксперимента, его научный руководитель членкор АН СССР, ректор Московского института инженеров транспорта, доктор технических наук, академик В. Иноземцев сказал в интервью одной из газет:

– Локомотивные бригады показали высокий профессионализм. Они успешно испытали новейшую технологию вождения супертяжеловесов... Подобные рейсы дают основания для разработки супертяжеловесных полигонов.

Десять лет спустя Аби Саркыншаков получил телеграмму из Москвы. В. Иноземцев вспоминал в ней о том уникальном рейсе, сожалел о том, что не удалось продолжить эксперименты, просил вновь передать его благодарность и привет всем, кто занимался экибастузским супертяжеловесом.

* * *

Было время, когда Саркыншаков проводил в Экибастузе времени больше, чем в Павлодаре. В таких случаях его выручал специальный салон-вагон, который служил ему и средством передвижения, и местом для рабочих совещаний, и гостиницей.

Тут, наверное, нужны некоторые пояснения.

Такой салон-вагон полагался ему как начальнику крупнейшего отделения железной дороги. Но вагон Саркыншакову достался особый – в своем роде уникальный. Он был изготовлен в конце прошлого или начале нынешнего века для российского императора Николая Второго. Затем, по некоторым сведениям, стал одним из вагонов, закрепленных за И.В. Сталиным. Потом на нем ездил один из министров путей сообщения, а когда стали выпускаться новые вагоны особого назначения, «ветеран» достался А.С. Саркыншакову.

Вагон имел просторный отсек для совещаний, комнаты отдыха, душевую, пищеблок, дорогую отделку и т.д. Особой была и его конструкция: он имел вдвое больше колесных пар,

снабженных пружинными рессорами, смещенный книзу центр тяжести, бронированные днище, стены и потолок (даже между стекол опускались бронированные пластины). И весил он 98 тонн – в два раза больше обычного пассажирского вагона. Это был вагон-неваляшка, вагон – ванька-встанька, который при любых нештатных ситуациях мог превратиться в неприступную крепость и ни при каких обстоятельствах не должен был опрокидываться... А еще он отлично держал тепло, что было тоже немаловажно в наши суровые зимы.

Не один год вагон служил Саркыншакову верой и правдой. Теперь он среди экспонатов железнодорожного музея под открытым небом, который задумал создать Аби Саркыншакович.

* * *

Памятные вехи... Сколько их у него было... Какие-то скрыты от постороннего глаза, о них знают лишь немногие. А какие-то – на виду. О них не мешает вспомнить. Те, кто давно живет в Павлодаре, помнят, сколько радости детворе доставляла детская железная дорога, построенная и открытая в 1979 году, к 25-летию отделения дороги. Среди тех, кто стал «локомотивом» этой стройки, был и Аби Саркыншакович. Чего греха таить, имел он при этом и «корыстный» расчет – знал, что не только местом развлечения станет детская железная дорога, но и поможет десяткам мальчишек и девчонок выбрать главное дело в жизни. Для этого, кстати, оборудовали и специальные классы, где занимались в две смены до 600 и более школьников.

Спустя два года, в 1981-м, в Павлодаре был создан железнодорожный техникум. А предшествовали этому следующие события. Весной 1980 года А.С. Саркыншакову довелось отчитываться на бюро ЦК Компартии Казахстана. Вел бюро первый

секретарь ЦК, член Политбюро ЦК КПСС Д.А. Кунаев. Выступление начальника отделения дороги слушал внимательно, заинтересованно. Среди прочих «постановочных» вопросов Саркыншаков упомянул о том, что действующее железнодорожное училище не справляется с подготовкой кадров для отделения дороги – желательно иметь свой техникум... Меньше чем через полтора года техникум принял первых 120 учащихся. Когда отмечали его десятилетие, на очном и заочном отделениях их было уже почти 1200. По уровню оснащенности Павлодарский железнодорожный может потягаться и с иным вузом. Все годы своей работы Аби Саркыншакович считал техникум детищем отделения дороги, помогал, чем только мог. Хотя справедливости ради надо сказать, что помогал не только техникуму, но и специализированному профтехучилищу, железнодорожным школам...

* * *

Еще одна веха – железнодорожный вокзал в Павлодаре. С прежним, вторым по счету, построенным в 1956 году, они были как бы одногодками, ведь именно в том году новоиспеченный инженер начал в отделении дороги свою карьеру. Двадцать лет пролетело. Пришла пора подумать о здании нового пассажирского вокзала, который бы соответствовал новому облику города.

В 1977 году вбили первый колышек на месте будущей стройки, а осенью 1981-го сдали вокзальный комплекс в эксплуатацию. Кто скажет, что наш железнодорожный вокзал плох? Классно поработали трансстроевцы – они и сегодня вполне могут гордиться этим своим объектом. Помогали предприятия города и области, поддерживали власти. А Саркыншакову запомнилось почему-то, как удалось спасти уникальную, единственную в городе дубовую рощицу, посаженную самими железно-

дорожниками на привокзальной площади еще в 1959 году. Над ней нависала реальная угроза вырубки – по проекту через рошу должна была проходить к новому зданию нитка водопровода. Ругались, спорили, однако нашли решение – пустили нитку в обход. Всегда бы так решалась судьба зеленых насаждений...

В 1988 году сдали новый железнодорожный вокзал в Экибастузе – тоже не худшее здание в городе. И тоже веха. А фирменный поезд «Баянаул» сообщением Павлодар-Алматы разве не веха? Каких трудов это стоило...

А как не вспомнить про санаторий-профилакторий! Саркыншаков считал совершенно ненормальным, что отделение дороги – одно из крупнейших в стране – не имело своего профилактория. В какие только двери он не стучался, куда только не писал... Даже мандат делегата съезда КПСС использовал – как таран... Не помогло... Выход нашли такой: построили пионерский лагерь – самый крупный в отрасли. На его базе и развернулись... Отстроили спальный корпус, грязелечебницу, наладили отпуск всех лечебных процедур, начали разливать свою минеральную воду, имеющую лечебные свойства... Добрая слава о санатории шла по всему Казахстану.

... Да, железная дорога – это не только рельсы, вагоны, локомотивы. Комплекс социальных объектов, которыми располагало Павлодарское отделение во времена Саркыншакова, насчитывал сотни многоэтажных жилых домов, на его балансе было 27 детских садов, одиннадцать школ, профтехучилище, техникум, две больницы и две поликлиники... А еще Дворец культуры, бани, фельдшерско-акушерские пункты, тепличный комплекс, подсобный цех... Всего, кажется, и не перечислить... Особенно большой рывок в строительстве жилья, детских дошкольных учреждений был сделан в последнее десятилетие. Проблема с жильем для железнодорожников была к 1995 году практически решена, а ведь тогда здесь работало около 18 тыс.

человек. Детских садов понастроили с запасом. И каких садов — с улучшенными условиями содержания детей, бассейнами... Все это социальное хозяйство служило, служит и будет служить людям. Не одним железнодорожникам. И это лучший прижизненный памятник Саркыншакова самому себе.

* * *

Он всегда был общественным человеком. Охотно выполнял комсомольские поручения в институте и на станции Павлодар. В 24 года стал депутатом городского Совета — самым молодым в его составе. Был членом горкома и обкома партии, членом бюро обкома. Избирался депутатом областного Совета многих созывов и депутатом областного маслихата, а теперь он — член областного дисциплинарного совета. Его членство и депутатство никогда не было простым приложением к должности — он всегда всерьез и с охотой работал как общественник, считая это своим долгом перед теми, кто его выдвинул или избрал...

Он был делегатом XXVII съезда КПСС от Павлодарской области. Что бы теперь ни говорили о той партии, а на свои форумы она действительно направляла не последних людей. Из руководителей-производственников среди делегатов того съезда оказалось лишь трое — А.С. Саркыншаков, генеральный директор «Экибастузэнерго» Б.Г. Нуржанов и директор сельхозобъединения «Черноярское» В.М. Симонов. А из «варягов» делегатом на съезд от Павлодарской области был избран Олжас Сулейменов.

Съезд больше всего запомнился Аби Саркыншаковичу тем, что он собрал вместе огромное количество людей, известных подчас не только всей стране, но и всему миру: пять тысяч делегатов, делегации из 152 стран...

В перерывах между заседаниями можно было встретиться с Фиделем Кастро и Тодором Живковым, Эрихом Хонеккером

и Николаем Чаушеску... Были тут Янош Кадар, Войцех Ярузельский, Бабрак Кармаль... Многих из них уже нет в живых, причем судьба иных сложилась весьма трагично.

Саркыншакова больше привлекали свои – те, с кем и не был лично знаком, но кого хорошо знал. Например, по книгам, к которым тянулся с детства. Подходил к Чингизу Айтматову, Расулу Гамзатову, Александру Чаковскому, Сергею Михалкову, Георгию Маркову, Егору Исаеву – все они также были делегатами съезда. Довелось пообщаться с прославленным летчиком, трижды Героем Советского Союза Иваном Никитовичем Кожедубом.

Запомнилась встреча с министром путей сообщения Николаем Семеновичем Конаревым, который после очередного съездовского дня принимал делегатов-железнодорожников. Для Аби Саркыншаковича это была вдвойне приятная встреча: министр знал его лично и вообще немало сделал для развития Павлодарского отделения Целинной железной дороги. А еще эта встреча памятна тем, что на ней присутствовал летчик-космонавт Виктор Петрович Савиных, как оказалось, бывший железнодорожник.

Космонавты – делегаты съезда – Валентина Терешкова, Георгий Береговой, Алексей Елисеев, Николай Рукавишников, Петр Климук, Владимир Шаталов – оставили у Саркыншакова впечатление людей скромных, эрудированных, напрочь лишенных высокомерия. А после посещения Звездного городка чувство уважения к ним только усилилось.

Навсегда осталась в его памяти встреча в Центральном доме литераторов с писателями и поэтами – делегатами съезда. Аби Саркыншакович всегда с трепетом относился к хорошей книге, а тут ему довелось послушать, как читают свои стихи Роберт Рождественский и Николай Доризо, Евгений Долматовский и Андрей Дементьев, Олжас Сулейменов, Александр

Межиров и Егор Исаев... На другом вечере его просто покорила своими песнями и музыкой обаятельнейшая Александра Пахмутова, перед делегатами также выступили Ян Френкель, Давид Тухманов, Андрей Эшпай, Микаэл Таривердиев, Андрей Петров...

Ни одного вечера он тогда не оставался в гостинице – обошел многие музеи, побывал в театрах. И тот съезд, помимо всего прочего, остался в его памяти как праздник общения, праздник встречи с той Москвой, какую он до этого почти не знал...

* * *

Кто-то очень верно подметил: часы тянутся, дни бегут, а годы летят... Вот так и Аби Саркыншакович будто и не заметил, как пролетели сорок с лишним лет, проведенных им в Павлодарском отделении железной дороги. Сколько всего было за эти годы!

О важнейших вехах в становлении и развитии отделения дороги рассказывается в книге Саркыншакова: «40 памятных лет». Правда, о нем самом в этой книге сказано немного – больше о сугубо производственных делах и о людях, которые немало сделали для развития этой отрасли в Павлодарской области.

Судьба сводила его с очень разными людьми. Например, в начале своей железнодорожной карьеры довелось встречаться с бывшим главой союзного правительства Г.М. Маленковым, сосланным в Экибастуз. Там он работал директором ТЭЦ, а Саркыншакову по роду службы приходилось иметь дело с грузами для ТЭЦ и ее железнодорожным хозяйством. Ему запомнилась такая черта в Маленкове: никогда не забывал поблагодарить за любую, казалось бы, самую мелкую услугу. В случае острой производственной необходимости Маленков направлял на то или иное предприятие своего представителя с запиской – и ему, как правило, не отказывали. Уезжали из Экибастуза Мален-

ковы тоже на поезде. Г.М. Маленков попросил железнодорожников выделить ему два больших контейнера – как оказалось, для книг.

В свое время окрылила А.С. Саркыншакова поддержка Д.А. Кунаева на бюро ЦК Компартии Казахстана. И обстановка, в которой проходил отчет начальника отделения дороги, и заинтересованное участие в обсуждении вопроса самого Динмухаммеда Ахмедовича, его расспросы и дальнейшая поддержка – это был и своего рода урок, пример для подражания.

Не раз пересекались пути А.С. Саркыншакова и Н.А. Назарбаева. В бытность Нурсултана Абишевича секретарем ЦК Компартии Казахстана по промышленности Саркыншаков показывал ему, как куратору отрасли, свое железнодорожное хозяйство, локомотивное депо станции Павлодар, другие объекты. Н.А. Назарбаев не забыл той поездки, и, когда им в дальнейшем приходилось встречаться – на XXVII съезде КПСС, XVII съезде Компартии Казахстана, во время поездок Президента Казахстана по области, он интересовался делами железнодорожников. А.С. Саркыншакову посчастливилось присутствовать на присяге первого Президента республики при его вступлении в должность. Это было 10 декабря 1991 года.

За время работы Саркыншакова в области сменилось семь первых секретарей обкома, один глава областной администрации и два акима области. И со всеми ему удавалось находить общий язык, потому что во главу угла он всегда ставил дело.

У него были отличные отношения с начальниками Западно-Сибирской и Южно-Уральской железных дорог А.К. Бородачом, В.И. Старостенко, И.П. Воробьевым, начальниками Новосибирского, Омского, Алтайского, Петропавловского отделений дорог (в разные годы) В.Ф. Зайко, П.Ф. Мысиком, И.И. Батаниным, Р.А. Бикбавовым, С.М. Пожарским, В.А. Регером, В.Н. Териховым и другими. Многие из них приехали

в Павлодар на его шестидесятилетие. О коллегам-казахстанцах и говорить не приходится – почти все они давно признали старшинство Саркыншакова.

После распада Союза именно личные контакты, прежняя дружба помогали ему решать проблемы, перед которыми подчас оказывались бессильны власти регионов и даже правительства.

В 1996 году он оставил пост начальника Павлодарского отделения, но не расстался с железной дорогой, став генеральным советником Министерства транспорта и коммуникаций. Он оставил после себя прекрасное наследство: техническая оснащенность предприятий дороги, уровень развития социальной сферы имеют запас прочности на многие годы вперед.

Одна из глав уже упоминавшейся его книги называется «Жизнь моя – железная дорога». Так оно и есть. Железной дороге он отдал больше сорока лет жизни и продолжает служить ей. А их общий «железнодорожный стаж» с женой Толеукыз Садвокасовной, которая тоже все время работала в этой отрасли, «зашкаливает» за 90 лет. Дочь Гаухар закончила Академию транспорта и коммуникаций.

У него есть все основания считать свою жизнь вполне удавшейся, а себя – счастливым человеком. Ему немало удалось сделать, он не обделен наградами, среди которых ордена «Знак Почета», Октябрьской революции и Ленина, многие медали... Он – заслуженный работник транспорта республики, почетный железнодорожник СССР. У него хорошие дети – сын Гайдар и дочери Гаухар и Алия, а теперь уже и внуки...

И он не собирается уходить в запас, надеясь еще послужить своей железной дороге.

Что было потом

Письмо из Москвы

Дорогой Аби!

С большой радостью получил твою замечательную книгу – «40 памятных лет». Молодец! Если бы каждый начальник отделения, начальник дороги и даже министр последовал твоему примеру, то железнодорожный транспорт получил бы мощную артерию жизненно важной информации и для истории, и для воспитания молодого поколения.

Что особенно важно в твоей книге? Это добрая память о людях, событиях и свершениях. Я не нашел в ней ни единого недоброго слова о руководителях дороги, республики, страны или министерства. Это говорит о высокой культуре автора, о его порядочности и природном такте, спасибо тебе за всех, о ком вспомнил и рассказал людям.

Прочтя книгу, я вспомнил то созидательное время конца 70-х и 80-х годов уходящего столетия, когда шла активная работа всей страны Советов по дальнейшему освоению Целины, угольных месторождений Экибастуза, строительству новых электростанций, каналов, железных дорог, предприятий черной и цветной металлургии, машиностроения, приборостроения, атомной энергетики, освоению новых сырьевых баз и, конечно, объектов по освоению космоса.

Это было время великих преобразований, и я рад, что во всем этом мы с тобой оставили свой конкретный след. Большим достоинством книги является и то, что автор на первый план поставил задачу показать роль простых тружеников Казахстана, их самоотверженный труд, переходящий в настоящий подвиг!

Я не могу забыть, как мы форсированным темпом строили вторые пути, электрифицировали линии на таких важнейших направлениях, как Целиноград – Экибастуз – Павлодар;

Моинты – Чу; на Кызыл-Ординском ходу; Целиноград – Кокчетав... Всего не перечесать...

А сколько было сделано в области совершенствования технологии во всех производственных процессах железных дорог! Стоит только упомянуть о создании новой технологии вождения тяжеловесных поездов, ставшей достоянием всей страны и мировой практики! Ведь это была настоящая эпопея – симфония труда!

Жилье, школы, детские сады, интернаты, дома отдыха, профилактории, Дворцы культуры, вокзалы, сельскохозяйственные комплексы! И над всем этим возвышается образ великих людей того времени как Казахстана, так и всего Советского Союза!

И очень хорошо, что есть такой человек, как Аби Саркынишаков, который не только вспомнил то время, но честно воздал должное этим людям, доведя до сведения своих современников всю правду.

Твою книгу прочли все члены моей семьи, и они тебе благодарны за доброе слово обо мне – одном из тех, кто всей душой и сердцем старался быть максимально полезным социалистическому отечеству!

В конце своей книги ты пишешь о том, что у тебя много друзей за пределами Казахстана и что ты этим гордишься как патриот Казахстана – это верно. И подтверждением этого является тот факт, что автор этого письма – твой настоящий искренний друг.

Ты пишешь, что такое богатство – иметь много друзей – тебе дала твоя работа – железная дорога. Она мне тоже дала много друзей, среди которых Аби Саркынишаков в первом ряду!

Я часто говорю: лучшие люди страны – из железнодорожной семьи! И твоя книга – яркое подтверждение сказанному!

А поэтому служи железной дороге столько, сколько духа хватит!

*Желаю тебе здоровья, счастья и всяческого благополучия!
Обнимаю тебя, твой друг.*

Н. Конарев. 04.09.96 года, г. Москва

* * *

В 2006 году исполнилось 50 лет трудовому стажу Аби Саркыншакова, который продолжает работать в отрасли – заместителем представителя президента ЗАО «Казахстан темір жолы».

За эти годы на территории области осуществлены при активном участии А.С. Саркыншакова уникальные проекты – построена железная дорога Аксу-Дегелен, электрифицирован участок Павлодар-Экибастуз (последнего Аби Саркыншакович добивался почти четверть века).

Вышли в свет две его новые книги: «Люди и встречи» и – совсем недавно – «Жизнь моя – железная дорога», получившие большой резонанс у коллег и других читателей.

А.С. Саркыншаков – почетный гражданин города Павлодара, он также награжден рядом наград суверенного Казахстана, знаком «За заслуги перед областью».

Вот уже вторую половину века он служит однажды и навсегда избранному делу – живет и работает так, что это заслуживает высочайшего уважения.

2007 год

Формула судьбы

Наум Григорьевич Шафер и Наталья Михайловна Капустина... Когда я размышляю об их жизни, то вспоминаю не новую, в общем, формулу: судьба – это характер человека плюс

обстоятельства, в коих ему выпадает оказываться. Чем больше узнаю этих людей, тем больше убеждаюсь в том, что «формула судьбы» – правило по-своему универсальное, всеобъемлющее...

* * *

Шаферы жили в Бессарабии. Благодатный, Богом отмеченный край, в котором нашли пристанище еврейские семьи, определенные на жительство в черте оседлости, а еще болгарские и греческие, оказавшиеся, как это часто бывает, за пределами исторической родины... Были, конечно, и русские. А жили все «под румынами» – так тогда здесь говорили, потому что тяготились румынским господством. Помимо всего прочего, насаждался румынский язык, и перед войной десятилетний Наум вполне сносно мог изъясняться на нем, а также на русском и двух «еврейских» – идише и иврите.

Потом в Бессарабию вошла Красная Армия. Тот день стал настоящим праздником для большинства здешних жителей – с советской властью связывались надежды на избавление от румынского гнета, на лучшую жизнь. Люди высыпали на улицы городка, приветствуя советские танки. Наума молодой парень-танкист подхватил на броню... Домой мальчишка бежал без памяти от счастья и гордости.

А 13 июня 1941 года в их дом пришли двое военных из НКВД и милиционер и, ничего не объясняя, распорядились: готовьтесь к переезду, на сборы два часа, с собой брать лишь самое необходимое... Таким образом «подняли» не только их – и русских, и греков, и болгар. Наум решил, что в числе самого необходимого должны быть патефон и пластинки (в их доме одной из главных ценностей был патефон). «Не положено», – сказал один военный и стал отбирать пластинки. Но пацан вцепился в них мертвой хваткой. «Оставь его, – примирительно

сказал милиционер, – пусть везет». (Те три десятка пластинок, которые зазвучат лишь после войны – и до сих пор у Наума Григорьевича, но об этом речь впереди.) Обоз со спецпереселенцами растянулся на несколько километров. Через какое-то время к семье присоединился и отец, накануне отправившийся в командировку в Кишинев. На душе у всех отлегло – будь что будет, но теперь хотя бы все вместе.

Людей с их нехитрым скарбом погрузили в товарные вагоны, и эшелоны двинулись на восток. Куда – никто не знал. И хотя многие понимали, что в воздухе пахнет войной, задавали (чаще – сами себе) горестные вопросы: почему увозят, если только что освободили, что будет с домами и нажитым добром, что будет впереди?

В Челябинске, ночью, открыли двери товарняков и людей, как скот, отсортировали: женщин, стариков и детей оставили, а трудоспособных мужчин и парней загнали в товарняк, стоявший напротив... Когда оба эшелона, почти одновременно, тронулись в разные стороны, какие-то женщины заголосили, завыли, а все остальные оцепенели, не веря, что так с людьми могут поступать люди.

Мужчин отправили на лесоповал. И большинство из них оттуда уже не вернулось. Не готовые к сверхтяжелому труду, непривычные к суровому здешнему климату, попавшие в нечеловеческие условия, они умирали, испытывая двойные муки, не зная, что стало с их близкими.

А их близкие оказались в Казахстане, в Акмолинской области, в так называемом «тридцать первом поселке». Можно сказать, им еще повезло – тут уже стояли бараки, сооруженные их предшественниками, которым пришлось обживаться на голом месте. Бывшие «классово чуждые элементы» – баи и басмачи; всякого рода ссыльные, проходящие перековку; спецпереселенцы... молдаване, туркмены, таджики, узбеки, евреи,

поляки, болгары, греки, русские... Кого тут только не было. По иронии судьбы, у поселка было второе, вполне оправданное название – «Интернациональный», а расположенный здесь же колхоз именовался «Новый быт».

Шаферы и другие депортированные из Бессарабии семьи не считались врагами советской власти (они, впрочем, таковыми и никогда не были). Им жилось полегче, чем тем же депортированным немцам и чеченцам. Но спецпереселенцев «приписали» к этому поселку, запретили им свободно перемещаться по стране, обязали регулярно отмечаться в комендатуре. Это продолжалось лет десять. Наум, уже учась в КазГУ, на первых курсах все еще ходил в Алма-Ате на отметку в комендатуру.

А тогда Шаферам опять повезло больше, чем другим. Отыскался глава семьи. Его, правда, было трудно узнать – чуть живой, в лохмотьях, с отмороженными и ампутированными пальцами ног... Его пытали, выгоняя в одних носках на мороз... Приписывали «буржуазный образ жизни» с мифическими восемнадцатью (!) слугами в доме и миллионную взятку то ли бывшим, то ли уже новым властям... Страх перед столь чудовищными обвинениями оказался сильнее страха перед мучителями – это отца и спасло: он ничего не признал. А его возвращение спасло семью – без него они, может быть, и не выжили бы.

Конечно, насильственная депортация была для семьи несчастьем, сравнимым с трагедией. Но одна бесчеловечная акция уберегла ее от другой – еще более страшной. Фашисты, захватившие Бессарабию через несколько месяцев, сначала загнали в гетто, а затем уничтожили поголовно всех евреев, волею случая оставшихся здесь. Grimасы судьбы – что тут еще скажешь.

... Жили Шаферы как все: недоедали, мерзли, тосковали по оставленной родине. Семья была достаточно образованной – в ней чтили веру, ценили книгу, любили музыку. Бабушка была глубоко верующей, но она, еврейка, пела преимущественно рус-

ские песни, если можно так выразиться, – народно-церковные. (Наум Григорьевич напел мне одну из них – это трудно пересказать, надо слушать.) Отец играл на скрипке, мать – на фортепьяно... Наум лет с четырех знал буквы и начинал читать, в пять – уже распевал «Как много девушек хороших...».

В «31-м поселке» он продолжал учиться в школе, где был приличный уровень преподавания. Среди его обитателей нашлось немало толковых учителей. Книжный голод, конечно, давал о себе знать. Наума выручал некто Калеткин. Большой и добродушный русский дядька снабжал мальчишку книгами из своей чудом уцелевшей библиотеки (когда его депортировали, он не взял с собой ничего – только книги), тем самым выделяя из всей ребятни.

Вскоре Наум стал «мальчиком напрокат». Среди бессарабских спецпереселенцев было немало представителей местечковой интеллигенции. Они собирались вечерами то в одном, то в другом бараке, и Наум им читал, а вернее... пел Пушкина, Лермонтова, Некрасова, Джамбула... Не только стихи, но и прозу – то речитативом, то нараспев, то на знакомую, то на им самим по ходу чтения сочиненную мелодию. «Евгения Онегина» – на мотив все тех же «Девушек хороших» из популярных в ту пору «Веселых ребят». Некрасовское «Душно без счастья и воли, ночь бесконечно длинна...» – на мелодию песни «Тучи над городом встали...» или «Синенький скромный платочек».

Это была сплошная импровизация. Как-то ему попался сборник Джамбула. И он тоже весь его перепел своим бессарабским слушателям. Для них, русских и греков, евреев и болгар, лишенных отчего дома, книг, привычного образа жизни и общения, этот мальчик, не то читающий, не то поющий при жировой коптюшке (тогда и зрение посадил), был напоминанием о «той жизни», о родине. Он был для них как свет в окошке... Даже когда пел:

*При родной советской власти
Сталин всем принес нам счастье —
малышам и старикам...*

«Вот это и есть культ личности, — скажет мне позднее Наум Григорьевич, — когда тринадцатилетний полуголодный мальчишка при коптилке поет такие строки — сам, добровольно».

Много чего еще было в той его жизни. И неудавшийся побег на фронт с другими пацанами — боялись, что войну без них закончат... И житье-бытье на колхозном постоянном дворе в Акмолинске. И Раиса Исаковна Горешник — преподавательница в музыкальной школе, которая обучала его игре на фортепьяно, а тренировался (иначе не скажешь) он дома на балалайке — других инструментов в семье не было...

Пережили депортацию, войну пережили, голод, лишения. Надо было жить дальше...

* * *

Наверное, есть все же какие-то неведомые небесные силы, которые сводят людей...

Казалось бы, их пути никоим образом не могли пересечься. Он родился в Бессарабии, а она — в Казахстане. Он собирался учиться в Москве, а ее путь лежал в Алма-Ату...

Правда, и общее в их судьбах тоже было. Он — из семьи спецпереселенцев, и к тому же еврей... Она — дочь врага народа, или, вернее говоря, вредителя. Отца-фельдшера (впоследствии руководителя крупнейшего совхоза, заслуженного человека, орден-ноносца) обвинили в том, что он заражал скот сибирской язвой, ящуром... И посадили — без всякого суда. Потом, правда, освободили: Лаврентий Павлович Берия, заменив на посту Николая Ивановича Ежова, «исправлял» допущенные тем перегибы.

Она любила своего отца, он был ее кумиром, идеалом... Но она никогда не связывала его несправедливый арест (об

этом в доме не говорили) с именем Сталина. Их семья была по всем статьям советская. Во втором классе «несознательные» одноклассники-мальчишки доводили ее до слез обидной частушкой-дразнилкой:

*Коммунары, коммунары Сатаны –
На троих одни штаны.
Один носит, другой просит,
Третий в очередь стоит...*

Но как бы ни расходились их дороги, им суждено было встретиться в Алма-Ате. Правда, для этого надо было, чтобы Наума провалили на экзаменах в МГУ. («Может, и хорошо, что провалили, – скажет он мне десятилетия спустя, – может, тем самым уберегли меня от куда больших неприятностей – уехал ведь без спросу, хотя не имел права... А это было чревато...») А Наталья Капустина должна была с отличием окончить педучилище в Усть-Каменогорске и выбрать тот самый филфак КазГУ, куда устремился через год после московской попытки Наум.

«Конкурс в том, 1950 году был просто ужасающий», – вспоминает Наталья Михайловна. Зачисляли следующим образом. Таких, как она, с отличием окончивших училища, и медалистов – без экзаменов. (Кстати говоря, ее бы и в МГУ приняли без экзаменов – просто не было денег, чтобы туда доехать. Еще один знак судьбы – он оттуда уехал, а она не поехала.) Их набралось 19 человек. Зачислили также шестерых «блатных» – детей высокопоставленных родителей, для которых устанавливалась какая-то негласная квота. 25 счастливиц стали студентами. Этот статус давал право на посещение лекций, место в общежитии и стипендию.

Еще четырнадцать человек (немедалистов и некраснодипломников) сдали вступительные экзамены на «отлично» и были зачислены кандидатами. Эти не имели права на общежитие и стипендию, но могли посещать лекции и бесплатно сда-

вать сессионные экзамены и зачеты. Еще шесть человек, среди которых оказался и Наум, получили на экзаменах по одной четверке. Они стали экстерниками и не имели права ни на общежитие, ни на стипендию, ни на посещение лекций... Зато могли сдавать экзамены, но... только за деньги.

«Что за бред?» – спросит нынешний дотошный читатель. Ну, хорошо – без стипендии и общежития, но на лекции-то почему нельзя ходить? А дело в том, что маленькие, тесные аудитории не вмещали всех желающих – народу туда набивалось, как килек в консервную банку. И назначались даже специальные дежурные, которые вылавливали экстерников и выдворяли их из аудитории. Что, кстати, было сопряжено со многими неудобствами – студенты сидели и стояли так тесно, что требовались известные усилия для того, чтобы выдворяемый мог выбраться на свет Божий.

Шафера выпроваживали несколько раз. А однажды он сказал: «Не выйду! Хотите – выносите, но буду сопротивляться!» И его оставили в покое. Потом он станет кандидатом в студенты, а уже где-то к концу третьего курса студентом – благодаря своему усердию и естественному отсеvu среди двух первых категорий обучающихся. И тот самый «контролер», что вылавливал его на лекциях для выдворения, теперь будет преследовать за их пропуски. У пропусков лекций были свои причины – об этом чуть позже. А пока еще о тех, кого свела судьба.

Они вели достаточно разный образ жизни. Она – «стоцентная» студентка, активистка-общественница... Он – странноватый, «тихушник», далеко не спортсмен, больше сам по себе... Словом, совсем не герой ее романа. Ей нравятся высокие, красивые, статные... Как отец... Ну и конечно, умные, сильные, способные на поступок... Куда до них Шаферу! Он вообще не охоч до большинства дел, в которых она заводила, – всех этих походов, соревнований, культмассовых затей вроде групповых

хождений в драмтеатр «под стипендию». Хотя она стремится «охватить» и его тоже – «нельзя уклоняться от коллектива»... Но он человек занятой, дорожит своим временем, у него есть какая-то другая жизнь... С большей или меньшей охотой он откликается лишь на мероприятия, так или иначе связанные с музыкой – этой давней его любовью и страстью.

* * *

В Акмолинске он окончил музыкальную школу, много занимался самообразованием, пытался (и не без успеха) сочинительствовать – у него уже были собственные песни, романсы, другие музыкальные произведения, даже за оперу брался. Факультетской самодеятельностью руководил артист столичного оперного театра Владимир Мельцанский, он хорошо относился к Шаферу и, поддавшись на его уговоры, включил его песни и музыку в конкурсный концерт. А в жюри конкурса оказался Евгений Брусиловский. Он похвалил самодеятельный оркестр за два вальса: молодцы, мол, и первый, хорошо известный, прилично исполнили, и второй, весьма оригинальный, где-то отыскали... Стоявший рядом Шафер осмелился сказать, что автор второго вальса – он. Брусиловский обернулся и отреагировал так: «Не скромничайте, молодой человек, первый вальс тоже ваш!». Тем самым он хотел сказать, что быть этого не может – первым вальсом были «Амурские волны».

С той поры начались их удивительные, ни на что не похожие отношения, их дружба. Хотя, казалось бы, о какой дружбе может идти речь? Брусиловский – музыкальный бог в храме искусства, а Шафер, если можно так сказать, скромный прихожанин в нем. Но что-то такое разглядел в нескладном самоучке Евгений Григорьевич, раз выделил и при всей своей сверхзанятости стал заниматься с Шафером у себя дома, бесплатно. Наверное, его удивляла (и забавляла) не только бесспорная ода-

ренность неожиданного ученика, но и его дерзость, в хорошем смысле слова дилетантское нахальство, с которым он, имея за плечами лишь музыкальную школу, брался за сочинительство не одних песен и романсов, но и весьма сложных музыкальных вещей, смешивая при этом стили, нарушая каноны... Наверное, Брусиловского умиляло то, что практические навыки у немолодого «вундеркинда», с опаской садившегося за фортепьяно, безнадежно отставали от его «внутреннего музыкального голоса», за которым угадывалась несомненная одаренность.

В их отношениях было много необычного. Как, впрочем, и в самих занятиях. Шафер приходил, они садились и начинали... разговаривать. О чем? Да о чем угодно — о жизни, о последних событиях, часто о литературе. Как-то Шафер выразился в том смысле, что он никогда не поставит Гончарова рядом с Тургеневым... И Брусиловский дал ему задание... прочитать Гончарова. А потом с дотошностью «экзаменовал» его по каждому прочитанному тому — наравне с музыкальной частью урока. Кстати, на нее, эту самую музыкальную часть, как правило, оставалось минут двадцать, в лучшем случае — тридцать, от отведенного часа.

Эти их встречи — разговоры — занятия продолжались полтора года. А однажды Брусиловский заявил: «К следующему занятию сделаете то-то и то-то, а еще принесете мне справку об отчислении из университета...» Маэстро-учитель тем самым хотел сказать ученику: хватит размениваться, главным делом вашей жизни должна стать музыка, а все, что этому мешает, надо решительно отсечь. Он пояснил, что ближайшие полгода Науму необходимо основательно, изо дня в день, заниматься, потому что потом он должен будет учиться в Свердловской консерватории, где по его, Брусиловского, просьбе Шаферу резервировано место...

То, что предлагал Брусиловский, было невероятно, в это было трудно поверить. Ведь у Шафера за плечами оставались

лишь музыкальная школа да много лет самоучительства... Но ведь это говорил сам Брусиловский!

А Шафер не знал: радоваться или печалиться? Да, он любил музыку и уже не мог без нее жить, а тут еще и такой шанс... Но и литературу, филологию он тоже любил, прикипел к факультету... Позади почти четыре года учебы: экстерник – кандидат – студент, полуголодное существование, уже близок финиш... В консерватории надо будет тянуться еще четыре года... На что жить? А вдруг из этой затеи ничего не выйдет? Стоит ли так рисковать?

Больше он к Брусиловскому не пошел. И не звонил. Было стыдно – ведь Брусиловский поступил великодушно и человечно. И было страшно – что ему мог сказать Шафер при встрече, какие привести доводы? Наверное, все-таки надо было попробовать объясниться... И случай представился... Как-то Наум увидел Евгения Григорьевича в гастрономе. Сперва поразился: Брусиловский, стоящий в очереди за колбасой, – это было, по его представлению, подобно тому, как если бы Бог пошел вместе со всеми мыться в баню... Опять испугался: вдруг заметит – и спрячется за спину будущей супруги...

От той поры остался у Шафера псевдоним – Нами Гитин, которым обозначено авторство немалого количества сочиненных им песен и других музыкальных произведений. Псевдоним придумал Брусиловский. Нами – так звала Наума мать, а ее собственное имя было Гита.

Много лет спустя Наум Григорьевич, уже вполне благополучный кандидат филологических наук, доцент, осмелился напомнить Брусиловскому о своем существовании. Шафер продолжал заниматься музыкой, и у него как-то исподволь, вдруг родилась мелодия на «Зимнюю дорогу» Пушкина. Он записал ее и послал Брусиловскому. Тот ничего не ответил. Приехав по делам в Алма-Ату, Шафер позвонил ему и, ро-

бея, спросил: получил ли Евгений Григорьевич его сочинение и что о нем думает? Брусиловский, никак не выразив своего удивления (все же прошло почти 15 лет), слегка заикаясь (такие знакомые Шаферу интонации!), сказал: «Я знаю много произведений на эту тему... Ваше мне ближе всех остальных». Шафер слушал, затаив дыхание, только успел подумать: «Если позовет снова, скажу: бросаю все и возвращаюсь к вам, Евгений Григорьевич!».

Брусиловский чуть помолчал и, не повышая голоса, сказал, будто зная, о чем подумал его ученик: «Знаете, какой из человеческих пороков я считаю главным? Нет, не предательство, а самопредательство...». И повесил трубку.

То были тяжелые времена для самого Брусиловского. Ему довелось пережить предательство со стороны близких ему людей. Были другие проблемы... Вскоре он уехал в Москву.

– Я понимаю теперь, почему он так говорил, почему не захотел со мной встретиться, – заново переживая случившееся, объяснял мне совсем недавно Наум Григорьевич, – дело не только в том, что я отошел от него как ученик. Он вкладывал в меня душу, а я не сумел это оценить... Эти наши великолепные беседы обо всем – он доверял мне, говорил как с равным... А я сбежал... Наверное, это больше, чем предательство... Наверное, он чувствовал себя обманутым, обкраденным... Но тогда поправить уже ничего было нельзя.

* * *

Как сходятся, становятся близкими совершенно чужие люди? Какие силы приводят в движение механизмы взаимных симпатий? Где на самом деле совершаются браки – на небесах или на земле?

Наум и Наталья шли навстречу друг другу долго. Даже чисто дружескими их отношения стали далеко не сразу.

Впервые он так или иначе обратил на себя общее и ее внимание, когда его выдворяли из аудитории и когда затем заявил запомнившееся всем: «Не выйду – хоть выносите!» Потом как-то на занятиях громил «Руслана и Людмилу». Тема звучала примерно так: «Относительно народности поэмы Пушкина...». (Конечно, тут проглядывало подражание Сталину – «Относительно марксизма в языкознании».) И тем не менее это было неожиданно, дерзко. Преподаватель Татьяна Владимировна Поссе профессионально «разложила» крушителя авторитетов, однако поставила «отлично» – за самостоятельность мышления.

Случалось, они до закрытия засиживались вдвоем в публичной библиотеке и – волей-неволей – домой в общежитие приходилось идти вместе.

Она приобщала его к общественной жизни, а он тащил ее в оперу. Она, памятуя о наказе отца («Столица – сама по себе университет, там – театры, музеи, выставки!»), не противилась. По пути он напевал ей свои песни, и, по правде говоря, они ей были куда понятней и ближе, чем поющие на сцене Руслан и Людмила. После одного из первых спектаклей она простодушно заметила, что опера очень статична, нет почти никакого действия, поют на разные голоса, не все понятно.

– Да что ты понимаешь! – негодовал в ответ он. – Только дурак, приходя в оперу, следит за действием, прислушивается к отдельным голосам... Ты слушай их слияние, воспринимай музыку! И потом – какое тебе надо движение? Если певец будет бегать по сцене, как он возьмет нужную ноту? Запомни раз и навсегда: у Глинки статичная музыкальная драматургия не только оправданна, но и необходима.

Никакие ее возражения в расчет не брались. В ответ звучало железное:

– Будем ходить на «Руслана и Людмилу» до тех пор, пока ты сама не сможешь воспроизвести основные мелодии Глинки!

Теперь, по прошествии лет, они спорят передо мной — сколько раз слушали эту оперу: 15 или 8 раз — и сходятся на том, что ходили, пока ее не перестали ставить.

... Ночная южная темень... Редкие фонари... На улицах ни души... Он напевает ей арию Руслана. Потом они в оба голоса заводят «О поле, поле! Кто тебя усеял мертвыми костями?». Если она ошибалась в полутонах, он тут же беспощадно поправлял ее. Такими были их возвращения из оперного театра.

Еще ходили в кино, где перед сеансом обязательно играл оркестр. Там они слушали казахские мелодии, учились понимать и воспринимать кюи Курмангазы.

Ни о какой любви и речи не было. Наоборот, они поверяли друг другу свои сердечные тайны. «Он был моей лучшей подружкой», — смеясь, признается сегодня Наталья Михайловна.

Но что-то такое уже витало в воздухе, количество их встреч переплавлялось в качество... И однажды это случилось. Они вошли в трамвай, стояли на задней площадке, вокруг толпился народ... Он как будто решился: «Я хочу тебе что-то сказать...». Она сразу все поняла: «Может, потом, не здесь...» — «Нет, здесь и сейчас!».

И было признание.

Она не обрадовалась — расстроилась. «Такая чистая, светлая была дружба, — подумала с сожалением и досадой, — и вот на тебе...». (Он теперь признается, что в такую идиллическую дружбу и не верил, считал, что, вообще-то, подобные отношения должны естественным образом развиваться). Она не знала, как теперь вести себя, что делать. В ее планы отнюдь не входило связывать с ним всю свою жизнь. Он не отвечал ее романтическому идеалу гипотетического супруга, ей вполне хватало их бескорыстной дружбы...

Его признание выбило ее из колеи, смешало планы, посеяло душевное расстройство. «Я ведь не могу сказать сама

себе, что люблю его, – размышляла она наедине с собой, – может быть, я просто привязана к нему, но ведь это еще не любовь...».

Именно в это время около нее появился парень – как раз из тех, кто вроде бы соответствовал ее представлениям о мужской красоте. Спортсмен, секретарь комитета комсомола из института физкультуры... Приходил с розами – высокий, статный; когда они входили в трамвай, все расступались – такой они были видной парой. Скоро он заговорил с ней о своих чувствах, а она с ним все время – о Шафере... Пыталась бывать в других компаниях... Но без Наума ей везде было невыносимо скучно. И она поняла, что искать никого не надо, все уже найдено. Вышло почти как у Пушкина: «Пришла пора – она влюбилась...».

Перед самым распределением они поженились.

* * *

Как у круглой отличницы, у Натальи было право выбора будущего места работы. Они взяли направление в Восточно-Казахстанскую область, пришли в облоно. Заведующим оказался бывший директор педучилища, которое она оканчивала, так что вполне могла здесь и преподавать. Но они были неисправимые романтики, патриоты, люди с гипертрофированным чувством долга (Я пишу это без всякой иронии – такими они были на самом деле.) Когда Наталья увидела, какой ажиотаж творится вокруг распределения, сказала: «Нами, давай поедem туда, куда никто не хочет ехать!» И он без колебаний согласился: как и она, считал невозможным начинать самостоятельную жизнь с города; по их глубокому убеждению, это было просто неприлично: не для того их государство учило, чтобы они прохлаждались в областном центре; ехать следовало в самую что ни на есть глушь, туда, где труднее всего, и там сеять «разумное, доброе, вечное».

... К началу учебного года они оказались в затерянном в горах селе Малороссийка, рядом с которым находился уже почти выработанный золотоносный рудник Жумба. Ей 22, ему 24 года. Поселили их сначала в пришкольной библиотеке, а потом во времянке. Одна комнатка, большую часть которой занимала русская печка. Была еще лавка, поставили кровать, стол и раскладушку для Наташиной сестры – там, где она жила, не было школы.

Жили – как получалось. Молодая супруга научилась заводить тесто и печь хлеб, подмазывать глиной с коровяком земляной пол... Супруг зимними вечерами, когда прогорала печь, забирался на крышу и прикрывал трубу мешком с золой, чтобы тепло не вытягивало. Окрестное население жило натуральным хозяйством – на всем своем. Для учителей это было плохо: продавать им что-то соседи стеснялись, а брать бесплатно не могли сами учителя. Приспосабливались... Когда кончались «снопы» колючего кустарника, служившего топливом, выменивали их у местных казахов на плиточный чай... Местным дояркам полагалось молоко в качестве премии, а у всех и без того дома коровы, вот одна и согласилась продать учительше свои премиальные 90 литров... Наталья каждый день ходила к ней на ферму с бидоном.

Вряд ли они тешили себя иллюзиями относительно уровня знаний у своих будущих учеников. Но реальность превзошла все ожидания – в большинстве своем школьники оказались чудовищно безграмотными. И в первой четверти у себя в шестом классе Наталья «дала» по русскому языку стопроцентную неуспеваемость. Был жуткий скандал, ее разбирали на педсовете, директор сказал: «Такое ЧП случилось впервые за 75-летнюю историю школы». Приезжал разбираться представитель района, Наталью чуть было не исключили из комсомола. (Это ее-то, комсомолку и патриотку до мозга гостей... Однажды у них в студенческом общежитии случился пожар, всем велено было

немедленно оставить комнаты. Единственное, что она прихватила, убегая, был... комсомольский билет...) Наталье повезло — за нее вступился районный прокурор... Когда спустя какое-то время после этих бурных событий директор школы спрашивал: «Ну, как там ваши шестиклассники?» — она отвечала: «Уже лучше — теперь на «двойки» пишут» — «Вы что, издеваетесь?» — обижался директор.

У нее не было ни тени сомнения, что она поступает правильно. Это не было с ее стороны ни вредностью, ни высокомерием. Просто она, будучи по жизни максималисткой, и дело свое делала так же истово. Скоро и ученики ее полюбили. Ходили в драмкружок, который организовали Шафер и Капустина. Но молодым учителям и этого было мало. Они жаждали просветить и взрослое население Малороссийки — отправлялись на ферму читать лекции дояркам и скотникам.

Зимой село зачастую оказывалось отрезанным от всего мира, почту возили редко. Иногда односельчане могли видеть молодых учителей, бредущих со стороны почты с мешками. В мешках были книги, на которые они тратили почти всю свою зарплату. Книги стояли в их времянке на лавке, и первое время хозяева даже брали их только в перчатках, чтобы не так быстро стиралось золотое тиснение обложек. Другим бесценным богатством в их первом совместном доме были пластинки. Их насчитывалось уже около сотни. Был и патефон, который отец вручил Науму в качестве свадебного подарка. И на Новый год, при свете керосинки, в этой Богом забытой, засыпанной до крыши снегом времянке звучали романсы Глинки и инструментальные пьесы Шопена, ковбойские песни, мелодии Дунаевского и популярные «5 минут» из только что вышедшей на экраны «Карнавальской ночи» Эльдара Рязанова.

Надо ли было им ехать в эту тьмутаракань с их университетскими дипломами, с их уровнем знаний? Ведь это все

равно, что использовать нынешний современный компьютер как простую печатную машинку. Но эти вопросы – из нашего прагматичного сегодня. А они тогда думали иначе. И даже сама постановка вопроса «надо ли ехать?» – была бы воспринята ими как безнравственная. Таким было их поколение – в большинстве своем. И не только их. Были в нашей отечественной истории и земские врачи, и сельские учителя, достаточно образованные люди, сменившие города на эту самую тьмутаракань. И Лев Николаевич Толстой, помимо «Войны и мира» и «Анны Карениной», писал детские книжки для чтения, на которых все мы учились, а еще создавал и содержал сельские школы...

Они ничуть не жалеют о тех двух годах, проведенных в Малороссийке и Жумбе. Да, они были наивны, но помыслы их были чисты. Кроме всего прочего, они там познавали жизнь, становились педагогами, учились жить среди людей. Там родилась их дочь. Там Наум наконец закончил свою оперу. Там были их молодость, их любовь, продолжение их личностного становления.

* * *

Кандидатскую диссертацию Наум Григорьевич защищал по Бруно Ясенскому.

До этого ему пришлось оставить первую избранную им тему «Проблема художественной формы в эстетике Льва Толстого». Умерла его научный руководитель – Татьяна Владимировна Поссе. Дочь известного русского издателя, дружившего с Чеховым, Короленко, Толстым, она была для них и учителем, и нравственным ориентиром, и советчиком. «Поднять» тему без нее было проблематичным, и потом – все равно требовался руководитель. От второй предложенной темы Шафер отказался сам и выбрал Ясенского.

Фактически это было первое исследование творчества Бруно Ясенского в Союзе. Талантливый писатель, он и личностью был замечательной. Свой последний роман «Заговор равнодушных» – об опасности фашизма, культа личности – Ясенский писал по горячим следам событий, происходящих в Европе, накануне второй мировой войны... В Советском Союзе искал убежища... Он писал, когда его пришли арестовывать, и успел сунуть рукопись в карман халата, в котором сидел и который с готовностью скинул, когда его взяли обыскивать... Жена писателя успела закопать рукопись в саду до того, как сама была арестована. Бруно Ясенский погиб в бериевских застенках, а жена спустя два десятилетия откопала его роман, восстановила рукопись. Благодаря ей мир смог прочитать эту пророческую вещь Ясенского.

Шафера и сам роман, и судьба автора просто потрясли. Ясенский был ему интересен и с литературоведческой точки зрения – как мастер сюжета и интриги, блестящей композиции... А кому сегодня не известен эпиграф к «Заговору равнодушных», ставший своего рода девизом для целого поколения людей:

«Не бойся врагов – в худшем случае они могут тебя убить.

Не бойся друзей – в худшем случае они могут тебя предать.

Бойся равнодушных – они не убивают и не предают, но только с их молчаливого согласия существует на земле предательство и убийство».

Желание написать работу по Ясенскому было огромным. Но оно натолкнулось на неодолимую преграду – диссертанту обязательно требовался руководитель, а специалистов по творчеству этого писателя не было, да и быть не могло – роман только вышел.

И тогда Шафер попросил помощи у Мухтара Ауэзова (это особая история — о том, как они познакомились). Ауэзов поговорил с академиком Сильченко, которому оппонировал на защите его докторской диссертации, посвященной Абаю, и с которым был дружен. Тот согласился стать номинальным руководителем, то есть соблюсти форму... Ничего иного Шаферу и не требовалось — он увлеченно работал над темой, собирал материалы и свидетельства, много ездил по стране. Познакомился в те годы и не раз встречался с Юрием Домбровским, автором знаменитого романа «Факультет ненужных вещей», который увидит свет только в годы перестройки.

В 1965 году Наум Григорьевич защитил диссертацию и стал кандидатом филологических наук.

* * *

Махатма Ганди как-то высказал мысль о том, что нельзя человека считать полноценным, если он хотя бы небольшое время не отсидел в тюрьме.

В этом самом смысле Наум Григорьевич Шафер может себя считать полноценным абсолютно — он посидел и в тюрьме, и в колонии...

Это случилось в Павлодаре, куда Шаферы-Капустины перебрались из Целинограда и где он спокойно работал на филфаке местного пединститута. Получили квартиру в новом доме над магазином с символическим названием «Счастье», подрастала дочь, завязывались интересные знакомства, замаячила впереди реальная перспектива докторской... А тема ее звучала так: «Русская гражданская поэзия за 100 лет». Неосведомленному человеку это мало что говорит, а специалисту понятно: гражданская — суть оппозиционная... Но ведь за 100 лет... Какой тут может быть криминал?

По мере поиска и подбора материалов соискателю стали попадаться и такие, которые хотя и не относились напрямую к вышеозначенной теме, но обязывали диссертанта знать и эти первоисточники.

Так в его доме оказались «Раковый корпус» и «Крохотки» Солженицына, «Автобиография» Евтушенко, опубликованная на Западе и получившая скандальную известность у нас в стране, повесть «Говорит Москва» Даниэля, «Письмо старому другу» Варлама Шаламова, записи песен Высоцкого и Галича... Там были еще «Повесть непогашенной луны» Пильняка, поэма «По праву памяти» Твардовского...

Разумеется, Шафером заинтересовались в «органах» и, придя однажды с обыском, все это и многое другое изъяли...

Между тем Шафер не был ни диссидентом, ни антисоветчиком.

– Не вел я этой борьбы, – говорит он мне сегодня, – я должен, просто обязан был, исходя из профессиональной добросовестности, прочитать того же «Доктора Живаго», а уже потом ругать... Моя вина лишь в том, что я преждевременно прочитал то, что затем вошло в университетскую программу. Я даже следователю, который вел мое «дело», сказал: «Я вам клянусь, что когда-нибудь я это опубликую» – речь шла о песнях Высоцкого. Так это, кстати, и оказалось...

То, что делали «органы» с Шафером, – был произвол в чистом виде. Не могли этого не понимать и организаторы его «дела» – все же на дворе были не сталинские времена, и неприличная история получила нежелательную огласку... (Как раз в ту пору в Павлодаре гремел кузенковский театр, ставший в городе не только настоящим культурным центром, но и своего рода руном гражданственности. И вот в по-новому прочтенном театре «Клопе» Маяковского, при полном зале, актер Олег Афанасьев, играющий Присыпкина, произносит

действительно имевшуюся в пьесе фразу: «За Шаферами нужен глаз да глаз!». В зале начинаются смешки и аплодисменты. Автор пьесы имел в виду жуликоватых шаферов на свадьбе, а многие из сидящих в зале вольно или невольно думали о вполне реальном Науме Шафере, попавшем в «нехорошую историю». Но Афанасьеву и этого второго плана было мало, и дальше он, случалось, скороговоркой нес чудовищную отсебятину: «А как за ними уследишь, когда один в Целинограде, а другой в Павлодаре?». Тут уже ни о какой двусмысленности и речи быть не могло. И, кстати сказать, самому Науму Григорьевичу, жившему под столь пристальным вниманием «органов», подобные «шалости» отнюдь не доставляли удовольствия. Скорее, наоборот.)

Не легче приходилось и родному брату Шафера – Лазарю. Они были больше, чем братья, они были духовно близкими людьми. Лазарь тоже пострадал, лишился преподавательской работы, таскал кирпичи на стройке. Его чуть не посадили...

Наума Шафера сажать, похоже, не собирались... Его хотели попугать, повоспитывать... Даже с работы не уволили – как был, так и оставался доцентом кафедры русской и зарубежной литературы пединститута. Дело хотя и состряпали, но закрыли, передали в архив. Взамен требовалось публичное покаяние: осознал, мол, свои ошибки, сделаю выводы и больше не буду совать свой нос куда не следует. Проводивший с ним напутственную беседу высокий прокурорский чин напоследок чуть ли не приобнял: веди себя как надо, и все будет хорошо.

А предстоял Шаферу так называемый общественный прогон. Он должен был на собрании интеллигенции города выслушать строгую товарищескую критику и выступить с ответной покаянной речью... И хотя он что-то подобное обещал прокурору, слабо себе представлял, как он это будет делать. И на собрание пришел не в лучшем виде – подавленный, сам не свой...

... Лето 1971 года. Актальный зал пединститута... Коллеги – преподаватели, директора школ... Зал полон. Тон задает один из чинов системы образования: «В то время, когда мировой империализм, эти зарубежные шавки... У нас в городе... доцент Шафер...».

Это «шавки – Шафер» просто ввинчивалось в мозг, слышать это ему было невыносимо...

Встал коллега, с которым вместе работали. «Да, Шафер не сделал того-то, того-то и того-то... Но ведь мог сделать!» Это «мог сделать» рефреном звучало во всей его пустопорожней речи.

Конечно же, Шафер не выдержал – не мог всего этого терпеть. И, поднявшись на трибуну, спросил, а помнят ли сидящие в зале, какое время на дворе? И по сути дела сказал: он должен был знать, как профессиональный филолог, все те источники, которые у него нашли. Они собраны с научной целью. В этом нет ничего предосудительного, скорее, наоборот – он не был бы профессионалом, отказавшись от возможности ознакомиться с источниками подобного рода. Знал бы Шафер, во что ему обойдется его принципиальность!

– Ну вот он и показал свое истинное лицо, – раздался в зале голос прокурора.

Так Шафер из свидетеля стал обвиняемым. А инкриминировали ему «систематическое распространение клеветнических измышлений о советском государственном строе». Ни больше ни меньше.

И все же он не верил, что его посадят. Даже когда, вызвав на очередную беседу к следователю, его задержали... Когда стригли наголо... Когда брали отпечатки пальцев...

Все вышло совсем как в известном еврейском анекдоте. «Вы знаете того Рабиновича, который живет напротив тюрьмы?» – «Да, а что?» – «Да ничего. Просто теперь он живет напротив своего дома». Павлодарская тюрьма (старая, еще доре-

волюционная), где держали до суда Шафера, находилась наискосок от его дома, на углу улиц Лермонтова и Ленина. Наталья Михайловна в первые дни приходила в дом по улице Дзержинского, где теперь магазин «Иртыш-маркет», и из окон верхних этажей смотрела на стены и крышу тюрьмы, где сидел муж, наивно надеясь его увидеть.

Солженицын в «Архипелаге» хорошо описал душевное смятение человека, неожиданно попадающего в тюрьму: ощущение растерянности, беспомощности, униженности. Все это было и с Шафером, хотя он попал в «привилегированную» камеру на четырех человек, где был деревянный (!) пол, а в зарешеченное окно проглядывал кусочек неба... Сюда доносились звуки уличной жизни. Вместе с Шафером в камере были подследственные – милиционер и следователь, а еще бывший директор крупного совхоза, фронтовик-орденоносец Ахметжанов, который тут же взял над ним шефство. Заставлял делать зарядку, учил играть в шахматы, все время тормозил... Но шок не проходил, не было никаких известий от жены, в голову лезла всякая чушь, иногда жить не хотелось...

Поддержкой и опорой, настоящим спасением для него стало письмо от жены. Ее, как оказалось, к нему просто не допускали, и то письмо тоже было нелегальным. Письмо сохранилось, и с согласия Натальи Михайловны и Наума Григорьевича я привожу его с небольшими сокращениями.

«... Пишу тебе от страшной тоски по тебе. А когда ты сможешь прочитать – неизвестно. Я не могу не говорить с тобой. Вот уже вторую ночь без тебя. Мысли будят во сне. Днем не могу заснуть. Голову распирают мысли, вернее, обрывки их, ни одну не могу додумать до конца, не могу связать их воедино. Кажется, разум покидает меня.

Сегодня меня разбудил твой голос. Ты буквально в двух шагах сказал: «Наташа!» – и так громко, в то же время тре-

возможно и нежно, как будто что-то хотел мне сказать необычно важное.

Родной мой, я знаю: ты зовешь меня, как я тебя. Я хоть могу поплакать, так как никто не видит. И реву уже третий день, да еще по нескольку раз.

Хожу на свидание с тобой, гляжу на эти глухие белые стены, так равнодушно вбирающие в себя любые мольбы, любые крики. Я посылаю тебе сквозь них лучи своей любви, частицы своего тепла.

Мужайся, милый, крепись! Страшно то, что случилось. Но я знаю чистоту твоего сердца, доброту твоих помыслов, верю в тебя и буду верить. Никто не в состоянии отнять тебя у меня.

Я буду теперь вдвойне, за тебя и себя, радоваться солнцу, которое скрылось от тебя, дышать прохладой, любоваться небом и звездами, нашей улицей. Но на что бы я ни посмотрела – слезы застилают глаза. Вижу тебя, слышу тебя. Сердце терзает мысль, что ты сейчас этого не видишь.

Вспоминай нас с Лисичкой. (Дочь. – Ю.П.). Она слушается меня и тебя. Все твои распоряжения выполняет. Играет.

Как ты там без бумаги, без книг, без музыки? Есть ли хоть люди возле?

Я склеила твои фотокарточки. Ношу их с собой. К ним прикасалась твоя рука, по ним я вижу твое состояние, твое волнение.

Соберу тебе посылку. Один раз в месяц! Это ужасно!

Не могу ни есть, ни спать. С трудом дала уроки. «Что случилось?» – задают мне вопрос. Видимо, несчастный вид смущает людей. Но я заставляю себя держаться так, что никто не узнает. Главное сейчас – держаться. Пусть хранит твои силы моя любовь к тебе. Целую тебя.

Будь мужествен и хладнокровен на суде. Не признавай вины, которую тебе приписывают. Береги здоровье и силы.

Вижусь с тобой во сне.

Целую крепко.

Ната».

Он потом ответил ей: благодаря твоему письму я выжил...

И был суд. Прокурор просил пять лет с лишением права преподавания... Наталья Михайловна тоже выступала на суде, говорила о муже, что он честный человек, советский человек... Ему дали полтора года – с отбыванием срока в колонии общего режима.

Из них три месяца он пробыл в павлодарской тюрьме: месяц до суда и два после. Последние два сидел уже в другой камере, человек на тридцать, с уголовниками. Его самым большим желанием здесь было – вернуться в прежнюю камеру. Не домой – об этом даже не думалось, а в ту камеру на четверых, с деревянным полом и зарешеченным окном, в котором проглядывало небо. Он с тоской вспоминал, как они просыпались там, свои долгие беседы с Ахметжановым, игру с ним в шахматы...

Потом он поймет, что есть тюрьмы и камеры похуже павлодарских, пройдет через целиноградскую и джамбульскую тюрьмы. Именно последняя оказалась худшей из всех, в ней было меньше всего порядка, особенно по ночам, когда зеки-уголовники рвали и жгли одеяла – так варили чифир; пили водку, которую им доставляли прямо в камеру. Но и в тюрьмах среди зеков были разные люди. В этом он тоже смог убедиться.

А новый, 1972 год Шафер встретил уже в Жанатасском лагере, где отбывали срок водители, совершившие аварии с человеческими жертвами, воры-карманники, сектанты. Тут тоже случалось всякое, особенно на первых порах. И смертью грозили... Наивный человек, он пожаловался, когда с него в пер-

вый же день сняли только что выданное лагерное обмундирование... Но — обошлось. А потом он и вовсе стал личностью в зоне весьма известной, по-своему авторитетной...

Наум Григорьевич надеялся, что в колонии ему найдется работа, так сказать, по профилю: в библиотеке, клубе... В школе, наконец, — там была вечерняя, в которой он вполне бы мог преподавать и литературу, и русский язык, и историю... Увы, его статья не предусматривала такой возможности. Зато государство позаботилось о том, чтобы дать зеку — кандидату филологических наук рабочую профессию каменщика. На стройке он работал и до этого, но подсобником. А для того, чтобы сдать на второй разряд каменщика, требовалось выложить стену для туалета. Курс теории Шафер освоил быстро, теперь следовало подтвердить свои знания на практике. Стенку он сложил — вроде ничего. Пришли утром на объект — она развалилась. Назревал скандал... Положение спас бригадир, хорошо осведомленный о других талантах Шафера. Выматерился и сказал: «Давайте сложим этому говняжьему профессору стенку!» Когда пришла комиссия, ей лишь оставалось подтвердить, что одним каменщиком второго разряда в колонии стало больше. А Наум Григорьевич до сих пор хранит выданное ему удостоверение.

Первое время зеки относились к нему настороженно. Живет как-то наособицу, все свободное время что-то пишет... «Ты не оперу ли строчишь?» — прямо интересовались некоторые, подозревая его в доносительстве. «Посмотрите сами, — отвечал он, — все мои бумаги в тумбочке». Те его тетради целы до сих пор и до сих пор служат ему. Это разработки лекций по русской литературе XIX века, конспекты критических работ, стихи... Тютчев, Некрасов, Писарев, Гейне, Салтыков-Щедрин... Жена исправно снабжала его журналами и книгами...

Как-то к нему обратился зек — бывший водитель: «Вижу, ты грамотный, проверь!». То была кассационная жалоба — стра-

ниц на пятнадцать. «Этого никто читать не будет», — поглядев, сказал ему Шафер. «Почему?» — «Слишком длинно, непонятно» — «Да чего там длинно, — обиделся зек, — я только половину описал...». Шафер взялся все изложить сам и составил бумагу настолько толково, выделив суть и те моменты, которые не учел суд, что дело вскоре было пересмотрено, и осужденному сократили срок наполовину.

С тех пор от «заказчиков» отбоя не стало. Писал он не только жалобы, но и любовные письма... Последних было, пожалуй, даже больше. Изредка они адресовались женам, а чаще — бывшим возлюбленным; «заочницам», с которыми зеки знакомились по переписке. Далеко не все из адресаток оказывались легковверны, прямо заявляя: «Не верю, что это писал ты сам!» — «У нас тут школа, библиотека, — продолжал с помощью Шафера вешать лапшу на уши далекой возлюбленной зек-проныра, — я учусь, работаю над собой, развиваюсь».

Когда Шафер, отбыв свой срок от звонка до звонка, освобождался, зеки не только радовались за него, но и сокрушались: «Жалко, мало тебе дали — кто нам теперь будет жалобы и письма писать?».

Но все это теперь вспоминается с улыбкой. А тогда... Тогда время как будто останавливалось. Он жил от ее письма до ее письма (число их ограничивалось), от ее приезда до ее приезда. Однажды жена едва не замерзла, приехав к нему на свидание. Ушла в город за покупками, а возвращаясь, уже в сумерках, попала в сильнейший буран и заблудилась — колония была в нескольких километрах от Жанатаса, автобусы туда не ходили. «Видно, Бог меня тогда вел», — скажет она потом.

Меня интересовало: как сегодня оценивает Наум Григорьевич все, что случилось с ним тогда, в 1971-м. Ясно, что был не виновен, ясно, что в отношении его был допущен произвол... Но ведь не мог же не понимать, упорствуя, что риску-

ет не только собственной карьерой (в хорошем смысле слова — не за горами была уже докторская, продвижение по службе и т.д.), но судьбой семьи — жены и дочери, которых любил и обрекал на страдания... Чего добился в конце концов, кому что доказал? На 18 лет (и каких лет — горы мог свернуть!) оказался отлучен от любимого дела. Жена полтора года тянулась одна, на 120 учительских рублей, деля их на него и себя с дочерью...

Наум Григорьевич отвечал мне так. Он никогда не считал и не считает себя героем, и отдает себе отчет в том, что его не-сговорчивость и арест обернулись лишениями для него и его близких. Но человек всегда должен поступать в соответствии со своей натурой. В противном случае он подвергает себя нечеловеческим мукам совести, обрекает себя на постоянные страдания. Примерно так высказался Лион Фейхтвангер, и Наум Григорьевич с ним вполне солидарен.

* * *

Отбыв срок, Шафер наивно полагал, что его счета с государством покончены и теперь он спокойно может вернуться на прежнюю работу. Ведь судебное решение никаких ограничений по этой части не предусматривало. Но все время почему-то оказывалось, что вакантных мест, даже преподавательских, для кандидата наук в родном вузе нет. Стал подавать документы в другие вузы — та же история... С большим трудом устроился в Жезказганский пединститут — ему создали соответствующую обстановку, пришлось уволиться... Нет, открыто ему нигде не говорили, что в его услугах система высшего образования больше не нуждается. Просто работы ему не находилось...

Конечно же, он скоро понял, в чем причина. Писал, просил пересмотреть судебное решение... Ведь никто из огромного числа свидетелей, проходивших по его делу, не показал, что он собирал те злополучные материалы с антисоветской целью. Он

обращался во все мыслимые инстанции в Казахстане (вплоть до Кунаева). Писал сменявшим друг друга генеральным прокурорам, начиная от Руденко... Писал Брежневу... Он был уже достаточно известен — участвовал в международных конференциях, выпустил книгу о Дунаевском. Но ответы приходили одни и те же: вы осуждены правильно... И только в разгар перестройки, в 1989 году, когда отменили статью, по которой он был осужден, в областной прокуратуре сказали: пишите заявление.

Он был реабилитирован. Потом ему пришлось снова доказывать, что он кандидат наук, объяснять, добиваться...

Наум Григорьевич благодарен Рахимберды Жакияновичу Аликову, Каламкас Баймурзовне Кудериной, Кларе Ахметовне Иреновой, Виктору Дмитриевичу Белозерову, которые не только осмелились принять опального доцента и кандидата на работу в вечернюю школу, но и всячески способствовали его научным изысканиям. Они так перекраивали расписание, что какое-то время у Шафера в занятиях был «перегруз», а затем образовывались «окна», так нужные ему для поездок — не менее четырех раз в год. Между прочим, тот же Аликов прекрасно знал, с кем имеет дело — он был и на том общественном прогоне, где обсуждали Шафера, и на его суде. Так что и в те времена мир был не без добрых людей.

А занимался в те годы Шафер своим любимым Дунаевским. «Почему именно он?» — допытывался я у Наума Григорьевича.

— На него лучше всего отзывается мое сердце, — сказал Шафер. — У меня есть ощущение, что его музыка рождается от утренней зари, от звезд, от весеннего ветра... Она так же прекрасна и естественна, как сама природа.

Дунаевского он знал с пяти лет... Уже тогда всю распевал «Как много девушек хороших...», «Широка страна моя родная», мелодии из фильма «Дети капитана Гранта». И потом

шел по жизни вместе с Дунаевским – разучивал его песни в университете, читал о нем лекции. (Наум Григорьевич читал, а Наталья Михайловна организовывала музыкальное сопровождение – сначала с помощью патефона, затем – радиолы. В Акмолинской области они объехали «с Дунаевским» десятки сел.).

Он ездил по стране и собирал о Дунаевском все, что можно было найти. Вскоре почувствовал, что вышедшие в свет книги о композиторе (кроме великолепного сборника воспоминаний о нем) неглубоки, поверхностны, идеологизированы, и сам взялся за книгу о нем. Книга вышла в одном из московских издательств под названием «Дунаевский сегодня».

В журнале «Дружба народов» опубликована подготовленная Шафером переписка композитора с Людмилой Головиной-Райнль. Это настоящий роман в письмах, соответствующий всем канонам жанра. Опубликовав лишь часть переписки, журнал анонсировал ее полное издание в своем ежегодном популярном приложении. К сожалению, из-за нехватки средств выпуск приложения, где из года в год публиковались лучшие произведения писателей из всех республик бывшего Союза, так и не возобновился.

В шести номерах журнала «Простор» публиковались собранные Шафером письма Дунаевского к Р.П. Рыськиной с его вступительной статьей «Дунаевский в Казахстане». В журнал «Нива», издающийся в Астане, были переданы Наумом Григорьевичем и опубликованы письма Дунаевского к Л.Г. Вытчиковой.

Несколько лет назад фирма «Большой зал» выпустила пластинку «Исаак Дунаевский в гостях у Михаила Булгакова». К этой пластинке Наум Григорьевич шел 15 лет... Шафер еще до выхода в свет дневников жены писателя Елены Сергеевны выяснил, что Дунаевский был частым гостем в доме у Булгако-

вых, играл у них, притом не только песни и музыку из оперетт, но и салонные пьесы, утонченные вещи... Среди булгаковедов считалось, что канонический вариант либретто «Рашель» следует искать в архиве композитора Глиэра. Шафер доказал, что это не так. В архиве Дунаевского он обнаружил этот вариант и опубликовал его в своей книге «Дунаевский сегодня». А затем по архивным источникам выпустил книгу оперных либретто Булгакова с предисловием и обширными комментариями. Это уникальный труд – фактически готовая докторская диссертация... Но Шафер увлечен совсем не этим: «Вы понимаете, я уверен, что Дунаевский и Булгаков стали очень близки друг другу... Я думаю, что некоторые страницы «Мастера и Маргариты» написаны под влиянием Дунаевского... Конечно, пока это только версия, но впору опять браться за книгу – «Булгаков и Дунаевский»...

Тема «Дунаевский и Шафер» – неисчерпаема. Ни в бывшем Союзе, ни в мире нет, пожалуй, другого человека, который бы столь глубоко, системно исследовал жизнь и творчество композитора. Наум Григорьевич так сильно прикипел к нему потому, что считает его творчество уникальным. Он считает, что Дунаевский, используя средства серьезной, классической музыки, создавал легкие музыкальные произведения; фактически – он один из прародителей советской массовой песни. Это феноменально, говорит Наум Григорьевич, что, оставаясь верными специфике легкого жанра, эти его музыкальные произведения одновременно являются элитарными и массовыми.

Справедливости ради замечу, что творчеством любимого композитора интересы Шафера не исчерпываются. Он продолжает преподавать в стенах вуза, куда вернулся после реабилитации. Он собиратель и исследователь авторской песни, выпустил уникальную пластинку «Кирпичики», где есть и

две его собственные песни. Он помогает готовить к изданию один из томов собрания сочинений Михаила Булгакова. Еще он участвует в международных конференциях, читает лекции в Санкт-Петербурге... Поддерживает местных литераторов. Иногда эта поддержка принимает и такие формы: он покупает тоненькие сборники павлодарских поэтов и прозаиков и, приезжая по делам в Москву, Санкт-Петербург, передает в ведущие российские библиотеки. Он убежден, что без этих книжек современный литературный процесс объективно не может считаться полным...

* * *

Некоторое время назад в гостях у Наума Григорьевича и Натальи Михайловны оказалась их давняя знакомая. Пожилая, не очень хорошо видящая, она подслеповато прищурилась и спросила:

— А вы что, так при библиотеке и живете? Квартиру вам так и не дали?

Простим ей свойственную возрасту рассеянность. Наверное, в ее памяти просто отпечатался тот факт, что когда-то в их биографии было и такое... Но, положа руку на сердце, замечу, что подобный вопрос может задать и любой другой попавший к ним впервые человек. Все свободное пространство от пола до потолка в их небольшой двухкомнатной квартирке занимают стеллажи с книгами и пластинками. Для других вещей здесь просто не остается места, да они Науму Григорьевичу и Наталье Михайловне, похоже, и не нужны.

Их библиотека и фонотека уникальны и насчитывают примерно по двадцать тысяч единиц каждая. Кроме книг, есть еще подшивки газет и журналов (некоторые — за десятки лет), их Шафер учитывает так: одна подшивка приравнивается к одной единице хранения, то есть к книге.

О качестве их книжного собрания в какой-то мере можно судить по такому факту. В свой первый приезд в Павлодар к ним в гости пришел Евгений Евтушенко. Пили чай, разговаривали. Немного поспорили – Наум Григорьевич сказал уважаемому им поэту, что напрасно тот переделывает свои старые стихи, объясняя, например, это тем, что он знает теперь о Ленине то, чего не знал прежде. «Думаете теперь иначе – напишите другие, – говорил ему Шафер, – а те, прежние, оставьте как есть...». Может быть, немолодой филолог и не убедил немолодого литератора (они почти ровесники), но удивил уж точно... Наверное, никогда еще Евгению Александровичу, не обделенному ни славой, ни почитателями, не предьявляли столь уникального домашнего собрания его сочинений: в одном этом доме набралось без малого полсотни его книжек... Надо, впрочем, отдать должное и поэту: подписал все до единой.

А еще Наум Григорьевич и Наталья Михайловна подарили Евтушенко не один десяток газетных вырезок, собранных ими почти за полвека. Все они о поэте или о его творчестве. Там была и давняя публикация «Комсомолки» «Куда ведет хлестаковщина?». Когда-то они боялись, что после нее поэт может покончить с собой и даже писали ему свои ободряющие письма...

Недавно случилась «маленькая» неприятность – часть стеллажей с книгами обрушилась. Хорошо, что хозяина в этот момент не оказалось рядом – он вполне мог быть погребен под ними. Книги уже нигде не помещаются, хозяйева больше тысячи раздали – в библиотеку для незрячих, в колонию, в редакцию местной газеты...

Фонотека, собранная Шафером, и вовсе уникальна, бесценна. Ему одинаково дороги в ней и те несколько пластинок из их дома в Бессарабии, которые он отстоял совсем мальчишкой, и те уникальные экземпляры, которых не отыщешь в архивах студий звукозаписи и в лучших частных коллекциях. Я попро-

сил его назвать те пластинки из детства, что уже больше полвека с ним. Русские бытовые песни («Крутится, вертится шар голубой...»), «Кирпичики»), романсы Глинки, музыка Римского-Корсакова и танцевальная музыка, эмигрантские песни...

Что же до коллекции в целом, то в ней – музыкальные произведения всех стран и народов в своих лучших образцах. Имеются в виду не только республики бывшего Союза, а страны всех континентов. Шафер не ставил целью собрать в своем доме всех выдающихся исполнителей, но все исполняемые ими вещи у него есть, некоторые даже в разных вариантах. В первую очередь речь идет о грампластинках. Наум Григорьевич сердится, когда ему говорят, что это «инструмент» ненадежный, недолговечный, свое отживший. «Есть пластинки, которые я проигрывал не менее тысячи раз, – убеждал он меня, – а они ничуть не износились. Просто с пластинкой надо уметь обращаться, и она будет служить вечно! Некоторые эстеты, музыкальные гурманы не любят пластинку за «шип»... Но это либо «заезженные» экземпляры, либо естественный «шип», который несколько не мешает восприятию мелодии, скорее, наоборот – придает звучанию особый аромат, особое очарование... Назовите мне любое произведение любого автора до 70-х годов – наверняка оно у меня есть», – завершил свою «лекцию» Наум Григорьевич.

Каюсь, я провел эксперимент: попросил отыскать песню, которую пели мои родители – «Называют меня некрасивою...» и другую – народную – «На улице дождик». Обе были найдены в полминуты. Мой спутник, смущаясь, спросил, нет ли романса «Только раз бывает в жизни встреча...». В коллекции оказалось больше двух десятков его исполнителей.

«Фонотека в фонотеке» Шафера содержит триста пластинок с произведениями Дунаевского – это все, что издавалось, и, кроме того, другие пластинки из личной коллекции композитора, переданные Науму Григорьевичу его сыном.

У бессребреника Шафера «пасется» весь Павлодар – он не успевает выполнять заказы на запись тех или иных произведений для радио, телевидения, театра, частных лиц. В его коллекции магнитофонных записей, помимо всего прочего, шестнадцать спектаклей гремевшего в шестидесятых годах в Павлодаре «кузенковского» театра. Чего в ней только нет, в этой коллекции!

Наум Григорьевич собирал ее не только потому, что сам любил музыку, но и потому, что хотел передать ее своим наследникам. Но, увы, он довольно поздно понял, что нельзя кого-то осчастливить помимо его собственного интереса, что каждому по-настоящему дорого лишь то, что собрано или создано им самим. Конечно же, Шафера беспокоит судьба его бесценного музыкального собрания, о котором хорошо известно и в России, и в США, и в Израиле. Лет десять назад он зашел к министру культуры Казахстана, завел речь о коллекции. «Нет денег», – развел тот руками. А теперь и подавно нет. Между тем Шафер и не просит денег, первое и главное условие, которое он ставит, – сохранить собранное им за полвека с лишним в целостности и сохранности, а уж все остальное – во вторую очередь. Но, похоже, в родном отечестве пока никому нет дела до будущего музыкальной сокровищницы мирового значения... А вот омский губернатор и наш земляк Л.К. Полежаев готов принять коллекцию Шафера с гарантией ее сохранения, о чем уже уведомил владельца официальным письмом.

Как это все напоминает вечную истину о том, что нет пророков в своем отечестве. И известную пословицу: что имеем не храним, потерявши – плачем...

* * *

Подходит к концу мое повествование об этих людях. Я задумывал его как историю их взаимоотношений, их любви.

Но уложиться в рамки жанра не смог – жизненного материала было так много, что я решил написать о них, как напишется. В этом очерке Наума Григорьевича больше, чем Натальи Михайловны. Наверное, это не совсем справедливо: без нее, без ее поддержки, ее любви он не стал бы тем, кем стал, не добился того, чего добился.

Анатолий Аграновский когда-то очень точно сказал, что провинция – это не где-то там, далеко от столиц, а там, где застой мысли. Я думаю, нам, павлодарцам, очень повезло в том, что эти два человека когда-то решили связать свою судьбу с нашим городом. Они и сегодня облагораживают его своим присутствием. Сегодня ни одно сколько-нибудь значимое культурное событие в городе не обходится без их участия. Мне кажется, оно, это участие, незримо ощущается и тогда, когда этих событий нет, когда Наум Григорьевич занимается дома своими нескончаемыми делами, а Наталья Михайловна помогает ему в этом. Помогать можно по-разному. Иногда – одним своим присутствием рядом.

В чем-то они очень старомодны со всеми своими приبلудными собаками и кошками (это надо было видеть – как за отправляющейся на пробежку Натальей Михайловной шествовали гуськом сразу четыре собаки и кот!), со своими представлениями о ценностях жизни. Внешняя сторона бытия их мало занимает, в быту они всю жизнь привыкли обходиться малым.

И они всегда современны. Они всему знают цену. В том числе и счастливому билету, который каждый из них вытащил в жизни – друг друга. Их ссоры старомодно-наивны, а размолвки максимум на полдня. Их идеалы несколько не потускнели под бременем лет и невзгод. Став сами мудрее, они не стали хитрее и расчетливее.

Им нелегко сегодня живется. И возраст дает о себе знать, и денег за всю жизнь не скопили... Их единственная дочь с тре-

мя детьми и мужем, оставшись в Темиртау без средств к существованию, бросив богатую библиотеку и фонотеку, собранную отцом, продав за 900 долларов квартиру, по сути, бежали в Израиль. Родители были у них в гостях, им понравилась страна, которая умеет достойно себя вести по отношению к разбросанным по всему миру соотечественникам. И двух этих немолодых людей она готова принять тоже и обеспечить их безбедную старость. Они не раз думали и говорили о возможном переезде. Но как бы им ни было здесь тяжело, они остаются. «До каких пор? – спросил я. «До тех пор, пока можем читать, писать, общаться», – был их ответ.

Прав Аграновский: провинция – понятие отнюдь не географическое. Наум Григорьевич и Наталья Михайловна доказали это всей своей жизнью.

* * *

Несколько лет назад городские власти (и прежде всего бывший аким Николай Иванович Чмых) нашли разумное решение проблемы – где и как разместить уникальную коллекцию. Создан Дом Шафера, где нашлось место и более чем 22 тысячам грампластинок, и огромной библиотеке, и самим Науму Григорьевичу и Наталье Михайловне. И теперь кажется, что этот Дом был в Павлодаре всегда, потому что нельзя без него представить нашу культурную жизнь.

Из книги «Блёстки»

Это чувство возникает у меня всякий раз, когда я время от времени начинаю ворошить свои старые бумаги. В «отработанном» журналистском блокноте (где-нибудь прямо на обложке – чтобы позаметнее), на обрывке замызганного тетрадного листа или потертой сигаретной пачки, на украшенной замысловатыми вензелями старой визитке нет-нет да и встретишь короткую, сделанную второпях запись... За ней чем-то захватившая тебя когда-то житейская ситуация, картинка с натуры, понравившийся образ, а то и вовсе одна единственная фраза.

Что-то теперь воспринимаешь равнодушно, уже не помнишь – зачем писал и по какому поводу, а что-то по-прежнему обжигает, рождает цепь воспоминаний, будоражит душу... И почти всякий раз охватывает досада: сколько слов отправлено в белый свет, а вот эти, куда более сочные, искренние, томятся взаперти. В «правильные» журналистские материалы они не вписались, поскольку не могли не нарушить привычный строй мысли, рассказами тоже не стали... Мне кажется, пришла пора выпустить их на волю. И я это делаю с неожиданным для самого себя волнением.

Я называю их «Блёстки».

Эрудит

Одну из своих публичных речей в колхозном клубе Иван Секретарев (а выступал он практически на каждом собрании) начал так:

– Уважаемое аудиторное присутствие!

На собрании в очередной раз утверждали на должность старого председателя. Иван высказался против и обосновал свою позицию:

– Да будь у него хоть семь пятен во лбу, я все равно скажу «нет»: разве можно доверять колхоз человеку, который полностью атрофировался от коллектива.

В зале смешки, легкий шум. Уставшие от долгого сидения, надоевшей всем процедуры, люди не прочь отвлечься... Однако председательствующий требует порядка, урезонивает Ивана:

– Не носи ахинею, а то лишу слова!

– Может, еще скажешь – галиматню, – парирует Иван и, перекрывая хохот в зале, громогласно заканчивает:

– Ну, нет, теперь-то уж я точно в принцип встану!

Ультиматум

Недавний выпускник зооветеринарного института, назначенный техником-осеменатором, через несколько недель самостоятельной работы приходит к председателю колхоза:

– Выбирайте в конце концов: или я – или бык!

Психология очереди

За многие годы Советской власти, особенно за последнее время, у наших людей, а у номенклатурной верхушки в еще большей степени, сформировалась устойчивая психология очереди: ненавидеть тех, кто впереди, презирать тех, кто сзади, и по возможности расталкивать локтями тех, кто рядом...

Приходится констатировать: новые времена в этом смысле мало что изменили.

Почем Россия?

Ходил в воскресенье на барахолку. Вот уж куда не зарастает народная тропа: не только все торговые ряды, но и все мало-мальски свободные места заняты торговцами. Их едва ли не больше, чем покупателей. Новые «предприниматели» хорошо знают друг друга, в случае нужды подстраховывают, обмениваются информацией.

Вот одна из «коммерсанток» кричит – через торговый ряд – своей знакомой:

– Вер, а Вер, почему у нас сегодня Россия?

– Да по 57, – тут же откликается та.

Сразу никак не пойму – о чем говорят, о каком товаре речь... Оказывается, это сегодняшней курс валют – российско-го рубля по отношению к нашему казахстанскому тенге.

И грустно, и смешно.

Какой теперь блат

Представления о блате, как о таковом, в наши смутные времена сильно поменялись. Недавно не без труда удалось устроить близкого мне человека – тетку – на работу в контору, которой руководит мой приятель. Работает тетка-пенсионерка уборщицей – моет полы в служебных кабинетах.

В чем же блат, спросите? А в том, что в этой конторе вовремя дают деньги. В перерасчете на доллары выходит около полсотни в месяц. Не разбогатеешь. Но тетка довольна, почти счастлива: на прежней работе ей не платили по году-полтора, пенсию приносят с двух- трехмесячной задержкой, а тут – зарплата день в день.

Из жизни денег

Было время, когда наличные деньги стали страшным дефицитом. И поскольку людям как-то надо было жить, из этой ситуации находили самые невероятные выходы.

На Ермаковском заводе ферросплавов, например, ввели свои собственные деньги – напечатали бумажки разного достоинства, которые выдавались его работникам и принимались в качестве платежного средства в столовых, заводских магазинах и т.д. Инициаторами новшества были коммерческий директор Мухин и генеральный директор завода Донской. Заводские юмористы тут же окрестили местную валюту МУДОНами – по начальным буквам фамилий их изобретателей.

Правда жизни

Бабы-соседки обсуждают своих мужей. И так выходит, что ни одного путнего: тот пьяница, тот неумеха, тот любитель сходить налево...

Вдовая немка Фрида, обычно в подобных разговорах не участвующая, неожиданно вставляет одну-единственную фразу:

– Лучше без хлеб, чем без мужик!

Бабы умолкают и быстро расходятся.

Сюжет для небольшого романа о семейной жизни

Когда-то им нравились даже недостатки друг друга, а теперь и достоинства раздражают... Между «когда-то» и «теперь» – их совместная жизнь. Вот о ней и надо рассказать.

Образ любимой

Друг отца, дядя Саша Агеев, звал жену – «моя опасна».

Несправедливость

Парень смолоду был мал ростом и получил обидную кличку – Окурочок. Вырос, стал мужиком, детей завел – кличка осталась. Состарился, умер... Так и схоронили – Окурком.

Любовь

Когда дядя Коля Хухорев стал ухаживать за моей теткой Ниной, своей будущей женой, она отпилила каблук на своих туфлях, чтобы не так заметна была их разница в росте.

И какая же прекрасная получилась у них пара – на всю жизнь.

Бог – не щепочка

(Из рассказа матери)

– Мне от отца часто доставалось – и за дело, и просто так. Один раз, уже не помню по какому поводу, за столом вырвалось: «Пап, ну ей Богу!». А он меня выпорол. Я стерпела, потом спрашиваю: «За что?» – «А не божись, не подумав... Тебе Бог что, щепочка?».

Между прочим, в Бога он не верил.

Отчего человеку хорошо?

Говорили о женах – мужьях, семейной жизни, разводах, и женщина 45 лет мечтательно сказала:

– Я до сих пор помню те свои чувства. Поздняя осень, но еще тепло... Тротуар весь в палых листьях... Я в новом сером пальто, в туфлях на шпильках... Иду из суда, где нас только что развели... Все мое существо, каждая клеточка поет: «Все, его больше не будет в моей жизни, мне не надо больше его видеть... Я свободна... Я не иду, а лечу... Я счастлива, как в детстве...».

Диагноз

Из выступления оратора-антикоммуниста на демократическом митинге:

– Фундамента капитализма в Казахстане не было, стены социалистического здания возводились на песке. В результате коммунистическая крыша и поехала...

Стиль жизни

Один мой знакомый холостяк, страшный неряха и разгильдяй, чистил зубы и ботинки в двух случаях – когда его вызывали в райком и когда он шел ночевать к знакомой женщине. В общей сложности получалось раза два в месяц.

Нарушил субординацию

Сын наших знакомых после долгих мытарств устроился на работу – возит теперь на машине начальника средней руки.

Рассказывает, что тот отличается редким самодурством. Однажды прямо из машины начинает распекать по сотовому телефону кого-то из подчиненных. Его собеседник, похоже, не согласен с шефом, пытается ему возражать. Начальника это приводит в бешенство:

– Вы что, не понимаете, с кем говорите? Может, вы еще и сидите?

Признание

Вечер. Семья у телевизора: бабушка, ее сын с женой, трое их детей-школьников. Только что закончилась телепередача «Песни прежних лет». Глава семьи, ни к кому конкретно не обращаясь, с досадой сказал:

– Какую страну профукали!

Подумал, вздохнул и добавил:

– И я в этом принимал участие...

О чем думает утопающий

Познакомился в дороге с мужиком. Разговорились. Он рассказал мне, как недавно тонул.

– Поехал первый раз в жизни на рыбалку – друзья вытащили. Сел в резиновую лодку, оттолкнули меня от берега, отплыл... Потом неудачно повернулся – и лодка опрокинулась. Конечно, тонуть стал – плавать же не умею... И вот что в это время в голове вертится: «Как все глупо! Зачем поехал? Теперь жене столько хлопот будет – похороны, это ж такая круговерть...». В общем, не страх, а досада. Вытащили меня ребята... Воды, правда, нахлебался...

Философия жизни

Когда односельчане укоряли нашего соседа дядю Яшу Кукарекина за беспутный образ жизни, он беспечно отмахивался:

– Не вам жить – а мне, Бог даст день, Бог даст поллитру.

И, вправду, дня не было, чтобы он остался трезвым.

Контраргумент

– За хорошим-то мужем и свинка – господинка! – поджав губы, всякий раз говорила наша соседка тетя Нюра, когда хвалили ее невестку.

Консенсус

Приятель делится секретами своей семейной жизни:

– У нас с моей благоверной такие отношения: я ее иногда запускаю в свой карман, а она меня – в свою постель...

Метаморфоза

Когда они только поженились, он говорил о своей жене – маленькой и хрупкой как тростинка:

– Моя четвертинка!

Затем, по мере того, как она набирала габариты:

– Моя половина!

А когда та сравнялась с мужем объемами – просто:

– Моя!

Господа-товарищи

Идет сессия областного маслихата. Прослушали доклад, начинаются прения. Слово берет депутат из впервые избранных. Говорит, слегка волнуясь от осознания своей собственной значимости.

– Я вам хочу сказать, товарищи... – Тут же сбился, будто произнес что-то не то. – Я извиняюсь, конечно, господа...

В зале смешки, и сразу не поймешь, кого тут больше: бывших товарищей или нынешних господ.

Аналогия

Вскоре после того, как в нашем городе появились первые легковые машины престижной шведской фирмы «Вольво», у водителей персональных «Волг» вошла в обиход присказка: «Век «Вольво» не видать»...

Родственные души

Удивительно, как часто шоферы становятся похожи на своих начальников, которых им приходится долго возить. Еще подобное случается с супругами по прошествии многих лет совместной жизни.

Характеристика

О вредном человеке:

– Такие рождаются не для того, чтобы жить, а назло другим.

Строители

В нашем дощатом дачном туалете провалился от старости пол. Неприятность, конечно... По строительной части я не мастак, надо кого-то просить, искать доски... Походил кругом, разобрал всё гнилье, нашел несколько подходящих отрезков доски. Позвал в помощники младшего сына Пашку. Уже вдвоем вымеряли, пилили, перестилали, по очереди прибивали... Когда закончили и попрыгали на пару для проверки настила на прочность, чувство было такое – будто дом построили.

Хорошая закуска – капуста

Видя, как гости за столом охотно уплетают хрусткую, мастерски поквашенную капусту, хозяин дважды посылал жену за добавкой, приговаривая:

– Хорошая закуска – капуста: и на столе не пусто, и подать не жалко.

Секрет успеха

Владимир Иванович Чужба – мой давний знакомый, пчеловод с почти полувековым стажем. Его улы в любой год с медом. Я все выпытываю секреты его успеха.

– Да какие там секреты, – досадливо отмахивается он, – просто пчелу надо любить больше, чем жену!

– А почему наши пчелы злые, кусучие, а на юге – нет?

– Ну, спросил тоже... – сердится он. – Южная почти всю зиму летает, а нашу как запрут в конце октября и в конце марта выпускают на белый свет... Почти полгода не какамши – это кто ж такое выдержит? Тут сам себя укусишь!

Реклама – это искусство!

Пришел на базар покупать шиповник. Сухонькая, разбитная старушка агитирует:

– Бери у меня – не пожалеешь: сухой, чистый, ядреный.

И, видя, что я почти созрел, добивает:

– Не шиповник, а коровьи титьки!

Ну, как тут не возьмешь!

Кому достанется велосипед

Отец с сыном-младшеклассником пошли на рыбалку. Сына отец оставил на берегу, велел ждать до 12 часов дня, а сам уплыл на резиновой лодке рыбачить в заросли. И увлекся... Когда проходящие мужики сказали пацану, что уже не двенадцать, а час, он отправился домой, где и объявил, что отец скорее всего утонул, поскольку к объявленному времени не вернулся.

Мать побежала на поиски супруга, а бабка, накормив внука, вместе с ним – вслед.

Внук по дороге – рассудительно:

– Бабушка, если папа утонул, значит, его велосипед теперь мой? Не будете же вы с мамой на нем ездить!

К счастью, навстречу им уже двигались его отец с матерью.

Боялись не успеть на войну

Однажды мы пригласили в редакцию фронтовиков. Один из них рассказал, как некоторые павлодарцы встретили известие о войне.

– 22 июня пришлось на воскресенье. Жаркий день, масса народа была на пляже... И как только прозвучало сообщение о том, что Германия напала на нас, многие прямо с пляжа, даже не одеваясь, отправились в военкомат – он ведь был совсем рядом, на берегу... Мы очень спешили, боялись, что не успеем, что война без нас кончится...

«Бодрост ушел...»

– Добрый утр! – энергично приветствовал меня каждое утро на Набережной сосед-аксакал, когда я шел на работу.

Теперь я его встречаю здесь все реже и реже.

– Бодрост ушел! – с грустью объясняет он произошедшую с ним перемену.

Нашелся!

Бывший редактор мангышлакской областной газеты Владимир Иванович Вова как-то встречал в аэропорту Олжаса Сулейменова. Были и другие встречающие – от обкома. Они представились первыми, за ними – он:

– Вова!

Сулейменов тут же отреагировал:

– Олжасик!

Но и не меньше!

Мой друг – поэт, редактор журнала «Нива» Владимир Гундарев перенес инфаркт. Лежал в больнице, лечился...

Врачи рекомендовали ему поберечься, жить поспокойнее, ограничить употребление спиртного.

– Даже норму мне установили, – рассказывает он, – до ста граммов в день.

Теперь Гундарев всегда носит с собой специальную рюмку-мерку – для контроля. И каждый день выпивает свою законную норму, не больше... Но и не меньше.

История одного имени, или Послание к аллаху

Ее зовут мужским именем Ермек Темешевна. Почему?

– Отец мечтал о сыне, а родилась первой старшая сестра, потом – я. Он сказал: «Видно, аллах не слышит моих молитв, поэтому я должен назвать свою дочь мужским именем». Так я стала Ермек.

– И что, помогло?

– Еще как: у меня семь братьев.

Пусть знают

Н.Г. Шафер учился в КазГУ на одном курсе с Анатолием Ананьевым, который впоследствии стал известным писателем, редактором журнала «Октябрь». Отношения у них в пору учебы сложились нормальные, ровные, но особо близкими не были никогда.

И вот, много лет спустя, они случайно встретились в Москве, в редакции «Нового мира». Ананьев тут же, при всех, бросился обнимать Шафера.

– Что это ты вдруг так? – удивленный столь необычным поведением всегда сдержанного Ананьева, спросил Шафер, когда они остались вдвоем.

– На всякий случай, – серьезно отвечал тот. – Мало ли что... Пусть знают, что ты мой друг.

Результат

Анекдот, родившийся после перестройки:

– Что вам дала перестройка?

– Правду, одну только правду и ничего, кроме правды.

Логика

Знакомая привела сына в детский сад – у них новогодний утренник. Его воспитательница уже наряжена снегурочкой. Няня ей – восхищенно:

– Ой, Ленка, ты такая красивая! Я бы на твоём месте ни с кем не здоровалась...

Из афоризмов брата Петра

– То, что отцы не доделали, это мы и есть!

Хорошая должность

Пришел к знакомым в гости. Садимся за стол. Хозяин распределяет обязанности:

– Я буду наливать, – тут же говорит один из гостей, – у меня должность такая – диспетчер по наливу.

Я подумал – шутка. Оказалось, нет: работает он на нефтеперерабатывающем заводе, и должность его именно так и называется...

Словотворчество

В Павлодар, на открытие нового кафедрального собора приезжал Архиепископ Астанайский и Алма-Атинский Алек-

сий – высшее должностное лицо православной церкви в Казахстане.

В своей речи по случаю знаменательного события он назвал акима области – путевождь.

Оказывается, и специфическому языку священнослужителей свойственно словотворчество.

* * *

У знакомого руководителя крестьянского хозяйства дела идут в гору: прибавилось скота, техники, увеличились посевные площади, иномарку себе завел...

– Мне бы еще ошебениться, – говорит, встретившись со мной.

– То есть? – спрашиваю я.

– Ну, дорогу от трассы до села щебнем засыпать...

На все случаи жизни

Побывал в офисе у одной знакомой, которая занялась бизнесом. В ее кабинете – прямо напротив рабочего стола – лозунг: «Так будет не всегда!».

Знакомая говорит, что он помогает ей жить: когда дела плохи – утешает, а когда хороши – предостерегает от эйфории.

Где наше время?

Брат Петька однажды сказал:

– Мы выросли в тени отцов и как-то очень быстро оказались в тени детей... А нашего собственного времени как бы и не было...

Раньше и теперь

Женщина средних лет жалуется подруге на мужа:

– Раньше, когда выдел меня с утра непричесанной, говорил: «У тебя голова – как хризантема». Теперь – прическу сделаю, а он: «У тебя на голове – черте что, копна сена какая-то».

Что есть телевидение?

Есть много определений современного телевидения. Мне больше других понравилось такое: это фабрика по производству товара принудительного потребления.

Прокололся

Директор совхоза «Жосалинский» Баянаульского района Капен Тулеубеков отправил на мясокомбинат очередную партию скота и с ней сопровождающего, чтобы ускорить приемку живности на месте.

День проходит, другой – из Экибастуза никаких известий. Тулеубеков находит своего представителя по телефону, начинает отчитывать. Тот клянется-божится, что делает все возможное...

– Да вы, наверное, пьете там? – Возмущается директор.

– Что вы, Капен Тулеубекович...

– А ну дыхни, – неожиданно командует Тулеубеков.

– Да мы и выпили всего по сто грамм, – доносится из телефонной трубки.

Урожайность по Шишкину

Николай Александрович Миллер – потомственный хлебороб, руководитель одного из самых крупных хозяйств в области. Мы уже не один год дружим, и как-то я пришел его навестить в городском профилактории, где он лечился и отдыхал. Обратил внимание на картину над его кроватью: могучие сосны, а на переднем плане дорога, по обеим сторонам которой – поспевающие хлеба...

– Что, нравится? – спросил Миллер. – Мне тоже.

И вдруг добавил:

– Здесь урожайность центнеров по 20, а может, 25 с гектара.

Оценил!

Желая произвести впечатление на своего нового возлюбленного, она пришла на работу в каких-то немислимых черно-белых одеждах. И он тут же оценил это:

– Ну, ты сегодня красивая – как гроб!

Учитель счастья

Я знаю его больше двадцати лет. Неудачник, балабол, путаник... Сменил десятки мест работы, нигде долго не задерживаясь.

И вдруг узнаю: ведет курс в частной школе. Курс называется «Стратегия жизни. Как выстраивать судьбу, чтобы она состоялась».

Учит других тому, чему за свои полвека не мог научиться сам.

Реакция

Друг – о своей бывшей жене:

– Ты веришь – нет, я ее как увижу, у меня сразу изжога начинается.

Народная мудрость

– Не откладывай работу на завтра, – воспитывала внука бабка.

– А девок – на старость, – вторил ей дед.

Наивность

Года два назад у меня на даче украли велосипед. И с тех пор я машинально вглядываюсь в каждого, кто едет на велосипеде – не на моем ли?

Псевдонимы

Актриса Грация Немытова.

Критик-славянофил Добромисл Хренов.

Грустная констатация

Первый секретарь обкома, сменивший после самороспуска партии свое прежнее кресло на должность председателя облсовета, с явной досадой подытоживал:

– Раньше я был главнокомандующий, а теперь... главноуговаривающий...

Легкое счастье

Детское ощущение счастья многогранно и многолико. Хорошо оттого, что мать с утра затеяла блины; оттого, что утро светлое и солнечное, а в открытое окно задувает ветер; оттого, что вечером в совхозном клубе обещали новое кино...

Где оно, все это, куда подевалось мое легкое счастье? Теперь даже крупная удача не трогает, скорее, тревожит, про себя думаешь: ну вот, повезло – теперь жди неприятностей.

Загадка истории

В наше время оказалось возможным соединение, казалось бы, совершенно несоединимого. В результате рождаются абсурдно-комические смысловые монстры.

Вот один из примеров.

Бывший совхоз после очередной реорганизации именуется теперь так – «Товарищество с ограниченной ответственностью имени XIX партийного съезда».

Потомки, наверное, сломают голову в попытках понять – что бы это могло значить?!

После бани

Идем с братом из бани. Напарились, вымылись, выпили по бутылке пива. Голова ясная, тело сухое, легкое...

И еще одно, может быть, самое удивительное ощущение – как последний штрих: кожа отдельно, а майка отдельно – будто не соприкасаются.

Хорошо!

Не забывайся!

Такое случалось со мной частенько... Вот удалось сделать что-то важное, значительное... Идешь по улице в приподнятом настроении, голова полна новых радужных надежд, каких-то планов... Идешь быстро, энергично, уверен в себе. И вдруг запнулся и со всего размаху – на землю. Дипломат улетел в сторону, содержимое рассыпалось, ушиб колено и локоть, измазался...

С трудом поднимаешься, приводишь себя в порядок, собираешь вещи и уже потихоньку бредешь домой... Это судьба, как будто играя, предупреждает: «Не забывайся! А то ишь ты – воспарил!».

Золотое слово

Моя мать – человек особого дара.

На все случаи жизни у нее есть своя пословица или поговорка. И мне кажется, что это тоже по-своему характеризует ее, как истинно русскую мудрую женщину, все повидавшую в жизни, а потому хорошо знающую, что в ней почем.

* * *

Семья у нас была по деревенским меркам средняя: двое взрослых да четверо детей. Главной пищей на зиму считалась картошка, и садить ее полагалось много. Впервые приехав в поле уже как работник, я оббежал по периметру наш участок в двадцать соток и не утерпел:

– Неужели мы все это выкопаем?

И услышал в ответ материно:

– Глаза боятся – руки делают.

И сколько же раз в жизни так бывало: приступая ко всякой большой работе, думал – ни за что не осилю. Но как-то так выходило, что картошка пропалывалась и выкапывалась, воз сена или соломы наполнялся, а гора березовых дров оказывалась перепиленной и переколотой...

И в университет оказалось возможным поступить, и закончить его – тоже... И всякое новое дело, за которое брался с равнодушным сердцем, оказывалось по силам...

Как все бесконечно просто и бесконечно мудро. И теперь уже я говорю своим детям в минуты жизни, когда они робеют (или ленятся) перед значительной для них работой:

– Ничего: глаза боятся – руки делают.

* * *

В субботу у нас по распорядку генеральная уборка. Обязанности давно распределены: жена стирает, я иду на рынок и в магазин за продуктами, старшие сыновья, поделив комнаты,

моют в них полы. Димка обычно заканчивает первым. Иногда мать устраивает ему инспекторскую проверку и, находя огрехи, начинает стыдить:

– Дима, ну разве так моют – нарочно?

– Да я мыл, баба, – канючит он, – мам, скажи...

Тут же следует бабушкино железное:

– Моим глазам свидетелей не надо!

И брак приходится перемывать.

* * *

Сидим за столом. На ужин у нас «непопулярная» у детей пшенная каша. Младший, Пашка, бросает на бабушку умоляющие взгляды, и ее сердце не выдерживает:

– Ладно, иди возьми в холодильнике сметану...

– А сметана домашняя или магазинная? – он почему-то предпочитает магазинную.

Мать – к слову – спрашивая у воображаемого собеседника и ему же отвечая:

– Лежень – Лежень, на яичко!

– Да кабы лупленное...

* * *

– Разуь глаза – обуь лапти.

Это ее частая реплика в ответ на поиски кем-то вещи, лежащей на самом видном месте.

* * *

Про человека, попавшего меж двух огней, и вынужденного с этим мириться:

– Богу молись, и черта не гневи!

* * *

Приехала родственница, рассказывает матери о несчастьях своего сына: только устроился работать шофером – попал (не по своей вине) в аварию, долго лежал в больнице, выписал-

ся – сократили, теперь вот осталось полгода до армии, а на работу нигде не берут...

– Это уж так, – вздыхает сочувственно мать, – бедному жениться – и ночь коротка.

* * *

Про общую знакомую, живущую вполне благополучно, однако вечно сетующую на несуществующие болезни, трудности жизни:

– То хромая, то с родин (т.е. после родов), то кривая – глаз один.

* * *

Встретил в городе совхозную материну подругу: на лицо помню, а фамилию забыл напрочь. Дома пытаюсь матери обрисовать ее, но безуспешно – она никак не поймет, о ком речь...

– Ну, вроде твоей двоюродной сестры, – делаю я последнюю попытку.

– Ну, да: вроде Володи под вид Кузьмы, – тут же откликается она.

* * *

Мать признает только близкую родню, с которой поддерживает связь, чем может, ей помогает. Бывает, кто-то с явным преувеличением говорит о своих чувствах к родне дальней, а она знает, что это неправда. Подобную степень родства оценивает так:

– Мы с ним такая родня: у него плетень горел, а я руки грел.

* * *

Димка у нас невысок, щупловат. Но зато легкий характером, незлобив, отходчив. Мать, видя, как он подчас нарочито бодрится, с удовольствием констатирует:

– Худому горе не вяжется.

* * *

Иногда мне кажется, что у нее есть присказка на все случаи жизни.

Вот опять пришел с работы не в лучшем виде – снова проблемы, нелады с начальством. Она – между делом:

– Не горюй: не отпадет голова – прирастет борода.

И вроде полегчало.

* * *

Всю жизнь прожившая в селе и только на склоне лет волею судьбы оказавшись в городе, мать не любит тех деревенских, кто «строит из себя» городских, говорит о них:

– В конюшне сидят, а по-горничному кашляют.

* * *

Друг отца, дядя Саша Агеев, пришел как-то к нам, чтобы «раскрутить» куму на опохмелку.

– Что, кум? – подшучивает над ним мать. – В голове шумит, а в кармане тихо-тихо?!

* * *

Классе в шестом я устроился на работу – полоть лесопосадки. Вставать надо рано – в полшестого, а не хочется. Мать тормошит, приговаривая:

– Вставать, вставай... Кто рано встает, тому Бог дает.

* * *

А внуков она теперь иногда будит с другой присказкой, особенно когда они утром пересыпают:

– Ну, хватит вылеживаться – из сна шубу не сошьешь.

* * *

Пришла соседка, о чем-то рассказывает, ругает сына, попавшего очередной раз в неприятную историю. Мать, желая ее успокоить, или не вполне разделяя ее возмущения:

– Ну, ты это не скажи: на грех мастера нет.

То есть, не горячись и не зарекайся: жизнь – штука такая, любой может оступиться, сам того не желая.

* * *

Сидим за столом. Завтракаем. Мать что-то пригорюнилась и к еде не притрагивается.

– А ты почему, баба, не ешь? – спрашивает младший внук Пашка.

– Ешь, пока рот свеж, – тут же отвечает она, – а завянет – и собака не заглянет.

* * *

Купили Пашке на барахолке китайские кроссовки. С неделю поносил – стали разваливаться. Мы с женой сокрушаемся, а мать посмеивается: «Так вам и надо: дешевая рыбка – поганая юшка».

То есть не экономьте там, где не следует.

* * *

Мать с кем-то говорит по телефону. Видно, ей жалуются. Мать, похоже, соглашается, вздыхает:

– Это уж так: скажешь правду – потеряешь дружбу!

* * *

Пашка мастерит из бумаги самолет. Режет, клеит, сопит, торопится... Что-то у него не выходит – надо браться заново.

Мать, как бы между прочим, сама с собой:

– Акуля, что шьешь не оттуля?

– А я, маменька, еще пороть буду.

* * *

Если к нам кто-то приезжает или приходит с утра, мать говорит:

– Ранний гость – до обеда, – добавляя неизменно, – а поздний гость – заночует.

В равной степени это ее выражение может относиться к зарядившему с утра дождю или разгулявшемуся к вечеру бурану.

* * *

Мать рассказывает о хождениях какой-то знакомой по начальству в связи со смертью мужа:

– Ну, сходила она к нему на работу, выплакала полторы тыщи денег...

* * *

Подруга жалуется матери на то, что сын перестал ей подчиняться и больше прислушивается к жене. Мать – тут же живо:

– А ты что хотела! Ночная кукушка дневную всегда перекукует!

* * *

Мать о человеке нелюдимом, малоразговорчивом:

– А он такой и есть: нашел – молчи, потерял – молчи...

* * *

Сидим всей семьей за столом. У кого-то из внуков сорвалось с языка явно не то. Мать строго пресекает:

– Укуси себя за язык!

Что означает: не болтай, думай – что говоришь.

* * *

Матери уже за семьдесят, прибаливает, жалуется – то одно заболит, то другое. Я пытаюсь ее успокоить: что же поделаешь – возраст... Она в ответ – живо:

– Ну, не скажи: иной и в старости – как чесночок!

* * *

На базаре появились первые местные овощи – редиска, огурцы. Мать отказывается их покупать, обижаясь на торговцев:

– Дерут за эту редиску, прости господи, как черт за грешную душу!

На базар, в Купино

Когда отец с матерью поженились, у них не было ни своего жилья, ни имущества, ни даже вещей – почти ничего. Зато какое-то время спустя у них появился велосипед – редкое по тем послевоенным временам транспортное средство. На нем они иногда по воскресеньям ездили из их родной деревеньки Чубаровки на базар в Купино.

Ехали – так: отец доезжал до макушки гривы (так здесь называют возвышенную часть складок местности) – чтобы матери видно было оставленный им велосипед – и дальше шел пешком. Мать доходила до велосипеда, садилась и ехала вперед, обгоняя отца... Затем оставляла велосипед ему... Так они, меняясь по нескольку раз, за час с небольшим преодолевали восемь километров, разделявших Чубаровку и Купино. А уже по самому Купино шли вместе – отец просто вел велосипед.

Не знаю почему, но мне за этим нехитрым способом передвижения видится теперь нечто значительное, высокое, романтическое...

Куда потом все это подевалось?

Не говори красиво

Заспорили как-то дома о самых главных изобретениях, известных человечеству. Называли электричество и паровоз, космический корабль и компьютер и еще много чего.

Я сказал:

– Если бы человек не был так высокомерен и смог на самом деле всерьез задуматься о сути вещей, он бы навсегда онемел перед чудесами, которые творит сама природа...

– А по существу? – ехидно спросил средний сын Димка.

– Представьте себе: из черной-черной земли вырастают зеленый огурец и красный помидор, яблоко с горошину и с небольшую дыню...

Тут бы мне и остановиться, но меня неудержимо несло:

– А сама дыня, а морковка, а картошка и хлеб, дерево и цветок...

– Хлеб? Из черной-черной земли? – невинно переспросил старший сын Данька.

Теперь, как только я начинаю в их присутствии изъясняться витиевато или торжественно, тут же следует неизменное:

– Ну, да... Когда из черной-черной земли...

А ведь я был тогда прав. Мне всего и надо-то было – вовремя остановиться.

«Звездизмы»

Так я называю цикл «блесток», каким-то образом связанных со «Звездой Прииртышья», ее журналистами и авторами, веселыми и грустными историями, которыми бывает так богата редакционная жизнь.

Новатор

Новый редактор был грубоват и прагматичен. Он поломал прежний распорядок дня, требовавший от сотрудников сидения на работе «от» и «до», отменил каждодневные планерки и недельные летучки, после чего провозгласил главную задачу, стоящую перед коллективом.

– Ваши задо-часы мне не нужны. Вы – пчелы, собирайте нектар действительности, перерабатывайте и несите в редакционный улей – на полосу. Это и будет мед нашей жизни.

Всем сразу понравилось: образно, точно и очень понятно.

Разделение труда

У нашей официальной газеты разделение труда с нашими конкурентами из независимых изданий. Мы публикуем соболезнования и некрологи, а они – объявления о знакомствах «с клубничкой».

А роднит нас то, что все мы берем за эти специфические услуги деньги.

Прогресс

Старый журналистский волк – студенту-третьекурснику:

– А ты вырос: раньше тебя надо было переписывать, а теперь можно сокращать целыми абзацами.

Критерий

Один мой приятель, несостоявшийся поэт, смолоду подававший большие надежды, так определял суть настоящего творчества:

– Есть в стихах романтическая дурь – есть и поэзия. А нет ее – и поэзии нет.

Аргумент

Пришел пенсионер – бывший сотрудник редакции. Просит оказать материальную помощь в связи со смертью жены.

Аргумент у него такой:

– Жить на наши пенсии еще как-то удавалось, а вот смерть её оказалась непозволительной роскошью: хоронить не на что.

Знание жизни

Как-то был в командировке вместе с большим областным начальником. В одном из совхозов, как водится, у директора выпили, закусили. Он вышел проводить: благодарил за приезд, приглашал еще...

– Да, ладно, не усердствуй, – добродушно остановил его мой высокопоставленный спутник, – сам не раз встречал гостей – знаю: нет для хозяина ничего приятней, чем пыль с колес отъезжающего начальства.

Вот такой Иерусалим... (Из читательского письма)

«... Жизнь наша протекает во тьме... Свет дают от случая к случаю... И сидим мы без телевизора, без радио, без холодильника...

Вот такой получается Иерусалим!».

Изысканная просьба

Объявили очередную подписку на газету. Вроде и недорого, по сравнению с другими, но все равно многим не по карману. И вот письмо в подтверждение – из села Фрументьевки Качирского района:

«Много лет я выписывала газету, и была она для меня – как свет в окошке. А теперь вот не могу – не за что... Подарите мне подписку на «Звездочку» – уж будьте настолько перпендикулярны!».

Ну можно ли отказать человеку после столь изысканной просьбы?

Отчего происходит искажение лица

(Из письма в редакцию)

«Зарплату уже полгода не дают. А за квартиру платить надо, за продукты. О здоровье и говорить нечего, дома сижу – в больницу идти без толку – там тоже денег потребуют...

А кто это все придумал?

... А ведь я не старуха, мне всего 51 год... Но вот от всех этих переживаний и получается у меня искажение лица...».

Деревенская валюта

Журналист нашей газеты ездил в командировку в дальний район. Привез оттуда такую новость. В одном из сел сохранился клуб, и время от времени устраивают там дискотеку (фильмов в сельских клубах уже давно никто не показывает). Завклубом остался, но денег ему тоже не платят, поскольку такой должности теперь нет.

В ходу теперь разнообразная деревенская валюта. Хочешь попасть на дискотеку – неси три куриных яйца или стакан сметаны, или пять пустых бутылок...

И ходят, и носят...

Два сапога – пара

Пришла устраиваться на работу новая секретарша. Обо всем договорились, но она не уходит, мнетса:

– Я должна вам сказать... Я на одно ухо не слышу.

– Тем более сработаемся, – говорю ей. – Я на один глаз не вижу.

Командировка раньше и теперь

Раньше журналисту в командировку на село можно было ездить без денег. Встретят как дорогого гостя: накормят, напоят и спать уложат. Ничего, кстати, не требуя взамен...

Теперь времена изменились. Корреспондент нашей газеты оказалась в дальнем районе в доме у фермера. Хозяин был в отлучке, а его жена охотно рассказывала об их житье-бытье: что, мол, Бога гневить, не бедствуем, и сами себя пропитанием обеспечиваем, и на продажу остается...

Дело шло к обеду, на кухне у жены фермера все кипело-скворчало, распространяя дразнящие ароматы. Контакт с героиней был полный, да и есть, по правде сказать, хотелось — выехали-то из города затемно. Журналистка сделала вид, что собирается попрощаться.

— Уезжаете? — уточнила собеседница и тут же предложила: — А, может, сметаны у меня купите?

Журналистка от неожиданности оторопела, хозяйка же энергично настаивала: «Берите, берите, в городе такой не купите... Еще яички есть... свежие... И недорого...».

Купила гостя и сметаны, и яичек. А поскольку никакой другой перспективы поесть не просматривалось, перекусывали в машине с водителем и фотокором предусмотрительно захваченными из дома бутербродами.

Земная юдоль вдохновения

Надпись на двери кабинета заведующего отделом культуры областной газеты гласила: «Не обольщайтесь!».

Она адресовалась поэтам и прозаикам, но, увы, мало кого останавливала.

Я тучи разгоню руками

Готовим номер к очередному государственному празднику. Ответсеку принесли на показ фотоколлаж. На нем величественные здания столицы, индустриальный пейзаж, хлебное поле... И над всем этим веселые облака...

— А это еще что за тучи? — хмурится ответсек. — Что вы хотите этим сказать? Так не пойдет — сделайте ясное небо!

Побудем троечниками

Когда нам в редакции в очередной раз «выкручивают руки», заставляя писать то, что писать по-хорошему никак нельзя (но и отказаться бывает нельзя: журналист – существо подневольное), мы вспоминаем спасительную формулировку Бабина: «Побудем троечниками!». То есть, напишем «раз вам надо», но без усердия, для видимости, как Бог на душу положит.

Своего рода саботаж, мелкая месть, фига в кармане...

Перефразируя классика

(о себе любимом)

*Я снова в деревне,
Хожу за грибами,
Пишу свои «блестки» –
Живется легко...*

Частушка

На введение Казахстаном своей национальной валюты – тенге – поэт Виктор Семерьянов откликнулся четверостишьям:

*«Я люблю вино и бражку,
Пошататься по турге.
А еще люблю Кульпашку,
У которой есть тенге».*

Кульпаш Кобырова работала у нас корреспондентом, а теперь блистает на «Хабаре».

«Заветы» Павла Ильича

С развитием ЭТЭКа – Экибастузского топливно-энергетического комплекса – быстро рос и город Экибастуз. Здесь решено было создать свою городскую газету. Не мудрствуя лукаво, назвали ее «Заветы Ильича». А редактором назначили П.И. Оноприенко – собкора «Звезды Прииртышья» по Экиба-

стузу. И поскольку звали его Павел Ильич, газету журналисты тут же окрестили «Заветами Павла Ильича».

Эпиграмма от Азарова

Евгений Григорьевич Азаров известен павлодарцам не только как крупный руководитель, но и автор пародий, эпиграмм, дружеских шаржей. Вот одна из его удачных эпиграмм, посвященных Сергею Павловичу Шевченко:

*«Создатель романов,
Любитель кесне,
Мастистый писатель
Шевченко С.П.»*

Питательно, но невкусно

Журналистка Марина Юрченко обзревала на редакционной летучке содержание газеты за последние две недели. Охарактеризовала его так:

– Знаете, все у нас полезное, нужное, можно сказать, питательное как соя, но невкусное.

Писатель – по штату

После выхода на пенсию С.П. Шевченко какое-то время подрабатывал на заводе «Октябрь» – организовывал там музей, писал книгу о предприятии.

Однажды пришел ко мне и заявил:

– Теперь я – настоящий писатель!

И пояснил:

– Директор утвердил штатное расписание. Я в нем тоже есть, сам видел: уборщица – одна, дворник – один, писатель – один...

Этикет

У заведующей отделом писем нашей газеты З.А. Суворовой есть постоянный автор в Щербактах. Материалы он шлет именно ей, сопровождая их короткими личными посланиями.

Одно из них начиналось так: «Добросердечная Зоичка Алексеевна! Здравствуйте 111 лет!».

О нас пишут...

Аспирантка Восточно-Казахстанского университета Ольга Кувшинникова написала научную работу «Безличные конструкции как средство художественной коммуникации» (На материале произведений Ю. Поминова).

О чем речь – убейте, не пойму. Но все равно приятно...

Тютюшки-люлюшки

Так называл журналист нашей газеты Воронов байки, шутки, прибаутки. Но это могло относиться и к пустопорожнему газетному материалу, в котором преобладали словеса, а не суть дела.

Баня – не паровоз!

Обсуждаем на редколлегии журналиста. Мало дает материалов, не бывает в командировках, не работает с авторами, не выдвигает интересных идей...

В ответ на последнее замечание замредактора Семерьянов решительно возражает:

– Ну, это уж слишком! Нельзя же ругать баню за то, что она не паровоз!

Что в имени тебе моем?

Каких только имен не придумывают люди в честь чего бы то и кого бы то ни было!

Я, например, знал Революда (революционное дитя), Вилена (Владимир Ильич Ленин), Вилора (Владимир Ильич Ленин – организатор революции), Марлену и Марлена (Маркс-Ленин), Сталину (женское имя с ударением на «и»), Гертруду (Герой труда), Мэлса (Маркс-Энгельс-Ленин-Сталин), Элика (от слова электрификация)...

Живут в Павлодаре Правда и Пипкаврох. Первая названа в честь газеты «Правда», а имя второго расшифровывается

так: «Памяти Исторической Победы Красной Армии В Районе Озера Хасан». Есть имя Персострат, что означает «Первый Советский Стратостат».

Среди казахских имен встречаются Армия, Октябрь, Тельман, Маркс, Энгельс, Совет. Рассказывали мне про братьев-близнецов с именами Социал и Демократ и даже про человека по имени Тракторбай...

Время такое было? Наверное, и так. Но вот читаю в одной из газет: родители наградили свою дочь именем Россия... А мой земляк из Железинского района назвал свое крестьянское хозяйство «ВИМель – 2030». Что это означает? Владимир Иванович Мельник, а число – дата из Стратегии Президента – «Казахстан – 2030».

Лицо эпохи

Ее зовут Нина Павловна Аринина. Уже лет пять она ходит к нам в редакцию в поисках справедливости. Строители, прокладывая теплотрассу, «потревожили» ее ветхую избушку, после чего жить в ней стало опасно. Аринина просит ее капитально отремонтировать, строители же уверяют, что они тут ни при чем, а все беды избушки от ее собственной старости.

Наша газета писала об этой истории трижды.

Аринина обошла все городское начальство, побывала на приеме у сменивших друг друга трех первых секретарей обкома партии, не одну свою пенсию потратила на обстоятельные телеграммы трем сменившим друг друга первым секретарям ЦК компартии республики, обращалась к Генеральному секретарю ЦК КПСС и Президенту СССР... Результат неизменно был один: очередная комиссия выносила заключение, согласно которому избушка Арининой капитальному ремонту не подлежит из-за ветхости, а новое жилье ей не полагается, поскольку она уже является домовладелицей.

У Нины Павловны Ариной не осталось никого. Родителей она лишилась в детстве и воспитывалась в детдоме. Муж погиб на войне, братьев и сестер она схоронила, а детей у нее не было. Арина приближала светлое будущее для потомков на лесоповале, в угольной шахте, на рыбацком промысле. Теперь у нее нет для этого сил, светлое будущее объявлено очередным заблуждением. И сама она решительно никому не нужна... Дни ее, похоже, сочтены – кажется, от нее исходит запах тления...

... Когда я в очередной раз гляжу в ее заплаканные бесцветные глаза, мне кажется, что передо мной не глубоко несчастная пожилая женщина, которой я ничем не могу помочь, а вся наша измученная, истерзанная страна.

Все равно – как, но только с Иваном Ивановичем...

Есть такой анекдот. Еще в советскую пору еврейская семья добилась разрешения эмигрировать в Израиль. Берут с собой и любимого попугая. На таможне им заявляют, что попугая как редкую, экзотическую птицу вывозить за границу нельзя. «А как можно?» – спрашивает глава семьи. «Ну, можно чучелом или тушкой», – отвечает таможенник. «Согласен – хоть чучелом, хоть тушкой», – неожиданно встревает в разговор сам попугай.

Этот анекдот я вспоминаю всякий раз, когда речь заходит о бывшем совхозе «Маяк»... Предстояло очередное его реформирование. Здешние работники, хорошо осведомленные о том, чем обернулись спешные преобразования у большинства соседей, где хозяйства попросту развалились, за сохранение своего стояли насмерть.

– Да поймите вы, что не можете дальше существовать в статусе КСП (коллективного сельскохозяйственного предприятия), – увещевал их на собрании представитель района, – нет больше в Казахстане такой собственности – коллективной...

– А в каком виде можем? – допытывались мужики, ошалевшие от бесплодных реформаторских шараханий, которые и довели село до ручки.

– В виде кооператива, ТОО, крестьянского хозяйства... Выбирайте сами.

– Нам один хрен, все равно как, но только с Иваном Ивановичем, – заявил кто-то, и его дружно поддержали остальные.

Иван Иванович Колодий – давнишний директор здешнего совхоза – смог не только спасти его от бездумного реформирования, но и сохранить основной производственный потенциал.

Не прогадали «маяковские» мужики. Теперь здесь – одно из немногих по-прежнему дееспособных сельскохозяйственных предприятий. И уцелело оно не благодаря, а вопреки реформам. А еще потому, что здесь оказался И.И. Колодий.

Культурная программа

В университет, в котором работает мой младший брат Петр, приехали американцы. Брату поручили организовать для них культурную программу. Он решил вывести их в воскресенье на природу.

Американцев было двое: еще крепкий семидесятилетний старик и его совсем молодая коллега. И – так уж вышло – ехать пришлось мимо огромного поля, где копали картошку многочисленные горожане.

– Что эти люди здесь делают? – изумилась молодая американка.

Картина и впрямь была впечатляющая: люди с лопатами, мешки, десятки, сотни задов, устремленных в небо – как будто выставленных напоказ.

– Картошку копают, – ответил брат, не пускаясь в долгие объяснения.

Наступило тягостное молчание. Потом встрепенулся старый американец:

– Ну, как же, я помню: у нас до войны тоже иногда можно было видеть такое...

Момент истины

В России ли, в Казахстане ли – люди любят ругать власть, включая, разумеется, и президентов. Но вот президенты выходят в народ, и мы видим, во всяком случае на телевизионных экранах, одно сплошное ликование.

Российский канал ОРТ как-то организовал прямое включение из глухой московской деревушки. Пожилая пара видит себя по телевизору в программе «Время». Корреспондент, до того рассказывающий о беспросветности жизни в этой самой деревушке, говорит деду с бабкой: «Возможно, вас сейчас видит и слышит президент. Что бы вы ему сказали, может быть, попросите чего-нибудь...». Дед сперва замаялся, а потом отвечает: «Да чего просить... Здоровья бы Борису Николаевичу...».

Вот вам и момент истины.

Хорошо еще бабка вовремя встрепенулась – толкнула деда в бок, будто говоря ему: ты что, мол, старый пень, забыл о чем старики день и ночь долдонят? И тогда дед добавил: «Ну, и пенсию бы маненько добавить».

Может быть, сами того не желая, телевизионщики отразили типичнейшую ситуацию, когда у людей всегда есть два мнения: одно, так сказать, для внутреннего потребления и другое – на публику. И они, как параллельные, никогда не сходятся...

Для России мы – иностранцы

Иногда мне приходится ездить в Омск, Новосибирск, Барнаул и как-то уже свыкся с таможнями, проверкой паспортов и прочими атрибутами государственной независимости...

Но вот довелось побывать в прошлом году в Санкт-Петербурге. Нас, казахстанских журналистов, повели в Эрмитаж. И оказалось, что билет для нас, уже как для иностранцев, стоит в десять раз дороже, чем для россиян. Они платят по тридцать, а с нас взяли по триста рублей. Интересно, есть ли подобное хоть еще где-нибудь в мире? Наверное, было только в Казахстане, где одно время в некоторых гостиницах с иностранных постояльцев брали деньги по какому-то особому тарифу.

Ударники капиталистического труда

В Японии нас, казахстанских туристов, повезли на один из заводов, выпускающих легковые автомашины знаменитой марки «Ниссан». Здесь, на сборочном конвейере, нам наглядно продемонстрировали, что такое интенсивный труд в высокоразвитой капиталистической стране.

Мы, человек семьдесят, шли вдоль конвейера (это метров сто) с остановками минут пятнадцать. И никто из работающих (их тоже было несколько десятков человек) ни на секунду не приостановился, не помахал рукой в белой перчатке, не улыбнулся. На нас вообще не обращали внимания. Потому что – некогда. У каждого рабочего места остов будущего автомобиля останавливался на считанные секунды, сборщик мгновенно что-то пристраивал или привинчивал, и машина проскакивала дальше. Люди в прямом смысле работали как роботы, подчиняясь неумолимому движению конвейера.

Позднее нам сказали, что средний месячный заработок здесь – три тысячи долларов в месяц. Но выдерживают на конвейере очень немногие.

И вот я думаю: если мы на самом деле хотим жить как они, то готовы ли как они – работать?

Одиночество

Из письма однокурсницы, уехавшей в Германию:

«Ты знаешь, у меня все хорошо, я все же вписалась... Работают... Квартиру недавно новую купили – сразу с мебелью, с телефоном... Все у меня есть...»

Но, понимаешь: телефон есть, а позвонить некому. Со всем некому... Живу среди людей, а как будто в лесу – одна-одинешенька... Чтобы хоть с кем-то поговорить по душам, я должна записаться на прием к психотерапевту. Час – пятьдесят марок...».

На набережной...

На набережной Иртыша я живу, по ней уже много лет хожу на работу и часто гуляю. С ней связано много впечатлений и воспоминаний. Может быть, они будут интересны ещё кому-то...

Камыш

Когда-то на этом отрезке набережной – там, где теперь стоят наши десяти-двенадцатиэтажные «кривые» дома, многоэтажек не было. Не было острова, что на наших глазах возник правее Лермонтовского пляжа. Не была обустроена и средняя часть набережной – с теперешними фонтанами и террасами к Иртышу. Зато был внизу «камышинный остров» – густые высокие заросли, через которые вела неширокая дорожка. Летом, в самую жару, в этих зарослях можно было ощутить желанную прохладу. Ещё тут чуть-чуть пахло болотной сыростью от никогда не высыхающей лужи, покрытой зелёной ряской. А зимой, особенно во время бурана, в сердцевине этого «островка» было тихо и как-то очень уютно. Наверное, и потому ещё, что шум ветра был слышен и тут, но сам ветер сюда не добирался, и даже снег сверху падал почти отвесно. Ещё откуда-то сверху

проникал зимними вечерами свет, завершая картину умиротворяющей гармонии.

Ярмарка тщеславия

Когда-то берег Иртыша от бывшего Дворца тракторостроителей и до речного вокзала был застроен сплошь одноэтажными домишками. Исключение составляли трёхэтажный «обкомовский» дом да спасательная станция. Теперь же иртышский берег – настоящая «ярмарка тщеславия», на которой новые хозяева жизни будто соревнуются друг с другом – чей особняк или дворец круче. Новые жилища, наклепленные вдоль береговой линии, где по-хорошему и строить-то подобные «хоромы» не следовало, вполне отражают вкусы их хозяев. Вернее сказать, пристрастия, потому что о чувствах вкуса и меры говорить не приходится. А роднят их все – высоченные глухие заборы, как будто хозяева постоянно ждут нападения невидимого противника. И будто в назидание потомкам стоят многие из новых хором на улице основоположника учения, заклеившего капитализм, – Карла Маркса.

Дерево-жизнь

Этот могучий старый клён на набережной стоит особняком. И его не спутаешь ни с каким другим деревом. У клёна короткое, мощное основание, а дальше вместо ствола – кривые, искорёженные ветви, растущие во все стороны. Мне он напоминает ушедший двадцатый век – со всеми его кровавыми изломами, противоречиями, бедами... «Всё уже было, – как будто говорит нам клён, – и я всё это видел, пережил и продолжаю жить». Этот клён для меня – символ жизненной силы и стойкости. Я называю его дерево-жизнь и показываю своим друзьям, которые впервые бывают со мной на набережной.

Содержание

Из книги «Живу»

Такая долгая жизнь.....	3
Дед Тимофей и бабушка Акулина	12
По ягоды.....	15
Встречи с чудом.....	22
Буря.....	27
Тихая охота.....	31
Запах родины.....	33
Я помню.....	34

Из книги «Между прошлым и будущим»

Свет отчего дома.....	42
«Все, что могу, я на себя беру!»	66
Письмо в XXI век.....	101

Из книги «Мои современники»

Сопротивление материала.....	115
«Жизнь моя – железная дорога»	129
Формула судьбы.....	147

Из книги «Блестки».....

Золотое слово	201
«Звездизмы»	209
На набережной.....	221

ЮРИЙ ДМИТРИЕВИЧ ПОМИНОВ

ИЗБРАННОЕ

Подписано в печать 18.01.2011 г.

Формат 60x84 1/16. Бумага офсетная. Гарнитура Times.

Объем в усл. печ. лист. 13,0. Объем в уч. изд. лист. 8,4.

Тираж 500 экз.

Отпечатано в ТОО «ЭКО».

140000, Республика Казахстан, г. Павлодар,

ул. 29 Ноября, 2, тел. (7182) 61-82-12, 61-80-81



Юрий ПОМИНОВ (1953) – писатель, журналист. Заслуженный деятель Республики Казахстан. Автор книг:
«Крупяной клин» (1990 г.),
«Помню и люблю» (1993 г.),
«Характеры» (1997 г.),
«Живу» (1998 г.), «Мои современники» (1999 г.),
«Между прошлым и будущим» (2002 г.),
«Блестки» (2003 г.),
«Хроника смутного времени. Записки редактора». Книга первая (2007 г.), «Хроника смутного времени. Записки редактора». Книга вторая (2009 г.),
«Хроника смутного времени. Записки редактора». Книга третья (2010 г.),
«Свет отчего дома» (2011 г.).

